

В. ХЛЕБНИКОВ

В. ХЛЕБНИКОВ

В. ХЛЕБНИКОВ

С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я

*Вступительная статья,
редакция и примечания
Н. Степанова*

**ЛЕНИНГРАД
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ**

1940

ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ

I

«Поэтическая слава Хлебникова неизмеримо меньше его значения» — писал в некрологе о нем В. Маяковский, заявляя от своего имени и от имени своих друзей (Асеева, Каменского и др.), «что считали его и считаем одним из наших поэтических учителей и великодушнейшим и честнейшим рыцарем в нашей поэтической борьбе». ¹ Звание «честнейшего рыцаря» поэтического слова, данное Маяковским Хлебникову, говорит о заслугах Хлебникова перед русской поэзией, об его упорной и непрерывной работе над поисками новых поэтических средств. Правда, этот экспериментальный характер творчества Хлебникова, сделав его в значительной мере «поэтом для поэтов», ограничил круг читателей его стихов.

Хлебников принадлежал к поколению поэтов, вступивших в литературу в эпоху между двух революций. Им были глубоко пережиты и мучительные поиски выхода из кри-

¹ В. В. Маяковский. Полное собрание сочинений, т. XII, М., 1937, стр. 33 и 40.

явса буржуазной культуры, и трагическое крушение гуманизма в годы империалистической войны. Вместе с лучшей частью интеллигенции Хлебников восторженно приветствовал Великую Октябрьскую Социалистическую революцию и в последние годы жизни стремился воплотить в своем творчестве темы и переживания, рожденные революцией.

Виктор Владимирович Хлебников родился 28 октября 1885 г. в селе Тундугове, б. Астраханской губ., в служилой дворянской семье. Отец его был ученым естественником, «поклонником Дарвина и Толстого»; мать получила историческое образование.

Детские годы Хлебникова прошли в обстановке природы, в провинции: на Волыни и в Приволжском крае. В 1897 г. семья Хлебниковых переехала с Волыни на жительство в Симбирскую губ., и Хлебников поступил в третий класс гимназии в Симбирске. В следующем году он вместе с родителями переехал в Казань, где и прошли годы его ученья. Окончив в 1903 г. гимназию, Хлебников поступает на математическое отделение Казанского университета. Пребывание Хлебникова в университете ознаменовалось участием в революционной студенческой демонстрации 1903 г., за что он был арестован и просидел несколько месяцев в тюрьме.

После выхода из тюрьмы Хлебников выбывает из университета. В 1904 г. он вновь

зачисляется студентом, но уже на естественное отделение.

К этому же времени относятся и его первые литературные опыты, которые, по воспоминаниям сестры — В. В. Хлебниковой, он послал М. Горькому. В эти годы Хлебников знакомится со стихами символистов, читает «Весы», увлекается книжкой стихов С. Городецкого «Ярь». Осенью 1908 г. Хлебников переезжает из Казани в Петербург и поступает на третий курс естественного отделения университета.

Первые стихи Хлебникова (1907—1908) еще носят на себе следы влияния символистов. От провозглашенного символистами поэтического лозунга «De la musique avant toute chose» («Музыка прежде всего»), от «звукониски» символистов шли такие стихи Хлебникова, как:

Я звучу, я звучу...
Сонно-мнимой грезы неголь,
Я — узывностынь мечты.
Льется, льется пленность берегов,
Вьются дети красоты.

В ранних стихах, с их импрессионистически-зыбкими образами, Хлебников воссоздавал сказочные мотивы, обращался к фантастической славянской мифологии, находясь еще под воздействием К. Бальмонта, А. Ремизова, С. Городецкого с их стилизацией древнерусского фольклора.

По переезде в Петербург окончательно определяется обращение Хлебникова к литературе. В Петербурге он сразу попадает в литературную среду, познакомившись с рядом видных петербургских поэтов — Вяч. Ивановым, Ф. Сологубом, С. Городецким, М. Кузминым. В письмах к родным 1908—1909 гг. Хлебников сообщает об этих знакомствах и о связанных с ними литературных планах, называя Кузмина своим литературным учителем. Однако его планам не суждено было осуществиться. Литературное объединение, с которым первоначально сблизился Хлебников, сгруппировалось в 1909 г. вокруг журнала «Аполлон», позже оформившись в группу поэтов-акмеистов. Хлебникову оказалось с ними не по пути. Бунтарская настроенность Хлебникова, его отрицательное отношение к их эстетскому снобизму явились причиной разрыва.

Расхождение с символистско-декадентским лагерем приводит Хлебникова к сближению с группой молодых поэтов и художников, объединявшихся в те же годы (1908—1910) под лозунгами борьбы за равное искусство во имя освобождения от рутины.

Застенчивый до неловкости, чудаковатый, только что приехавший из патриархальной провинции, Хлебников сразу же попадает в беспорядочную обстановку столичной артистической богемы. Практически беспомощный, погруженный в мир фантастических образов и мечтаний о судьбах челове-

ства, Хлебников с самого начала полон непоколебимой уверенностью в своем поэтическом призвании.

Еще в 1908 г. Хлебников познакомился с В. Каменским, содействовавшим помещению в журнале «Весна» первого напечатанного произведения Хлебникова («Искушение грешника»). Знакомство и сближение Хлебникова с В. Каменским, Д. и Н. Бурлюками, А. Крученых, Е. Гуро, М. Матюшиным и, несколько позже, с В. Маяковским привело к образованию группы футуристов (или, как называли их Хлебников, ревниво оберегавший язык от иностранных слов, — «будетля»), издавших ряд сборников: «Садок судей» (1-й сборник, Пб., 1909, 2-й сборник, Пб., 1913), «Пошечина общественному вкусу» (М., 1913), «Дохлая луна» (М., 1913), «1-й журнал русских футуристов» (М., 1914) и мн. др. В 1914 г. изданы были отдельной книжкой стихи Хлебникова — «Творения» (туда вошли преимущественно его ранние произведения 1906—1908 гг.). В содружестве футуристов Хлебников занимал особое место — поэта-экспериментатора, «словотворца», чьи взгляды и теории далеко не во всем разделялись остальными участниками.

Футуристы впервые декларировали свои поэтические принципы в начале 1913 г. в программном сборнике «Пошечина общественному вкусу», провозгласив себя единственными выразителями современности: «Только мы — лицо нашего времени» — заявляли они

в своей декларации. Однако, восставая против мистического направления символистов, против буржуазного эстетства, против эротики и «парфюмерного блуда Бальмонта» и «бумажных лат» эстетизма Брюсова, футуристы ограничивали свое бунтарство областью формы, областью поэтического языка.

В своих требованиях футуристы выдвигали на первое место «права поэтов» («на увеличение словаря в его объеме произвольными и произвольными словами (словоновшество)»). Это ограничение задач поэзии обновлением формы и языка вело футуристов к формалистическому экспериментаторству, наиболее явственно сказавшемуся в их «задумных» стихах.

Русский футуризм ничего общего не имел с итальянским, являвшимся выразителем империалистических настроений итальянской буржуазии. Бунтарский характер русского футуризма, протест против буржуазно-капиталистического строя, поиски новых художественных форм — знаменовали наличие в нем того живого начала, которое двигало вперед поэзию. Было бы ошибочно, однако, рассматривать и оценивать футуризм как некую единую школу.

Еще в 1915 г. М. Горький писал, что «русского футуризма нет», а есть отдельные поэты (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Каменский): «Среди них есть несомненно талантливые люди, которые в будущем, отбросив плевеи, вырастут в определенную

величину. Они мало знают, мало видели, но они несомненно возьмутся за разум, начнут работать, учиться. Их много ругают, и это несомненно огромная ошибка. Не ругать их нужно, к ним нужно просто тепло подойти, ибо даже в этом крике, в этой ругани есть хорошее; они молоды, у них нет застоя, они хотят нового свежего слова, и это достоинство несомненное. Достоинство еще в другом: искусство должно быть вынесено на улицу, в народ, в толпу, и это они делают, правда, очень уродливо, но это простить можно. Они молоды... молоды...»¹ Этот чувственный отзыв Горького о футуристах объяснялся прежде всего наличием среди футуристов Владимира Маяковского, чей «молодой голос», «звущий к молодой новой жизни», был уже тогда чутко отмечен Горьким. Сотрудничество Маяковского с этой группой поэтов объяснялось тем, что футуристы, стремясь к созданию нового искусства «безъязыкой улицы», вступали в борьбу с признанными авторитетами буржуазного мира, восставали против уродующей человеческую личность капиталистической культуры.

Эта антикапиталистическая настроенность определила и мировоззрение Хлебникова, искавшего, однако, «спасения» не в борьбе с капиталистическим строем, а в бегстве от него в природу и в прошлое.

¹ «Журнал журналов», 1915 г., № 1 стр. 3.

Хлебников протестует против власти вещей, против омертвления культуры, но его протест остается протестом гуманиста, трагически переживающего враждебность капиталистического строя человечеству.

В поэме «Журавль» (1909) Хлебников показывает восстание вещей против человека, грозное отмщение машины и механической цивилизации ее создателю — человеку, «пленнику вещей». В этом трагическом восприятии крушения гуманизма Хлебников перекликается с Маяковским, провозгласившим бунт человека против власти вещей, против «адища» капиталистической цивилизации («Владимир Маяковский»). Но в то время как у Маяковского этот протест являлся протестом против всего буржуазно-капиталистического строя во имя революционных идеалов, во имя революционного переустройства мира, Хлебников оставался в плену давно отживших иллюзий, обращаясь к прошлому, к идеализации патриархальной и первобытной культуры.

Одряхлевшей капиталистической цивилизации Хлебников пытается противопоставить «золотой век» первобытного состояния человека, его общности с природой. Поэтический мир Хлебникова заселяется образами древнеславянской мифологии — лешими, Перунами, ведьмами, русалками. Он мечтает найти фантастический синтез древнеславянской, античной и азиатской культуры, обрести идиллическое детство человечества.

Поэтому пантеизм Хлебникова глубоко идеалистичен. В своем обращении к природе Хлебников далек от мысли о творческом и разумном ее преобразовании человеком, о ее завоевании, борьбе с нею. Наоборот, человек у него подчиняется природе, растворяется в ней.

Это «языческое» восприятие природы родственно пантеизму поэта американской демократии Уитмена, которого чрезвычайно высоко ценил Хлебников. Пантеистическая идиллия, изображение мира природы таким, каким он предстает примитивному первобытному мышлению, занимает большое место во всем творчестве Хлебникова. Это пантеистическое мироощущение придавало поэзии Хлебникова цельность и свежесть в восприятии природы, оптимистическую жизнерадостность, которая была утрачена декадентской, упадочной поэзией XX в.

В основе этого пантеизма Хлебникова лежало бездумное, стихийное ощущение бытия:

Нам много ль надо?
Нет: домоть хлеба,
С ним каплю молока,
А солью будет небо
И эти облака.

Потому-то у Хлебникова Венера убегает от «холодных юношей» и «утомленных стариков» в сибирские просторы к «монголу», ища там подлинного ощущения жизни и ее

радостей. Дочь киевского князя Владимира, «внучка Малуши», призывает к бегству от скучной современности к «первичной красе» древней Руси, изображаемой в сказочных идиллических красках:

Мы водяному деду стаей,
Шутя, почешем с смехом пятки.
Его семья проста —
Была у нас на святки.

Этот «уход» к природе являлся основным мотивом творчества молодого Хлебникова. Такие нантенистические идиллии его, как «Лесная дева», «Шаман и Венера», «Вила и леший», «Сельская очарованность», «Лесная тоска», «Три сестры», проникнуты этим «языческим» восприятием природы и восходят по своим образам и поэтическим принципам к народной мифологии и сказке.

Хлебников мечтает о слиянии человека с природой, якобы существовавшем во времена первобытной культуры и в античное время, восставая против бездушия и эгоизма буржуазной действительности: «Поверите, но среди людей я чувствую себя как живой ивовый прут среди прутьев, пошедших на корзину. Потому что живой души у городских людей нет, а есть только корзина. Я живо представляю себе жреца Дианы, с его веселыми блестящими глазами и чувственным красным ртом. Он бы, конечно, сказал, старый товарищ и пьяница, что

между ним и горожанином та разница, которая существует между живым оленем и черепом с рогами. Есть некий лакомка и толстяк, который любит протыкать вертелом именно человеческие души, слегка наслаждается шипением и треском, видя блестящие капли, падающие в огонь, стекающие вниз». («Чортик»).

Бездушной, механической цивилизации капитализма Хлебников противопоставляет не только обращение к природе, но и глубокое прошлое, докапиталистическую старину, кажущуюся ему свободной от социальных противоречий и наделяемую им теми же чертами наивной идиллии.

Обращаясь к историческим темам, Хлебников проявляет особенный интерес к Востоку, к Киевской Руси и первобытной культуре («Внучка Малуши», «Дети Выдры», «Повесть каменного века» — «Э и И», «Гибель Атлантиды» и др.).¹ Вместе с тем Хлебников уже тогда высказывает сочувственное внимание к русским крестьянским революциям. Так, в «Хаджи-Тархане» он говорит о Разине и Пугачеве («Мила, мила нам пугачевщина»).

Империалистическая война, возникшая в 1914 г., не только показала истинный, отвратительный облик капиталистического мира, но и уничтожила те иллюзии, которые питала

¹ В 1912—1913 гг. Хлебников в письме к А. Е. Крученых намечает себе задачу — «составить книгу баллад из русской истории о «России в прошлом», «Ермаке», «Святославе», «воспеть задунайскую Русь».

значительная часть интеллигенции, мечтавшая о «мирном» переустройстве общества. Империалистическая война всколыхнула широчайшие народные массы, воочию показала им преступную, эксплуататорскую природу капиталистического строя. Эти глубокие потрясения в общественной жизни оказали огромное воздействие и на Хлебникова. Начало войны застало его в Астрахани, у родных. Зимой 1914/15 г. он проводит в Петербурге, все более и более проникаясь той возбужденной атмосферой, которую принесла с собою война. Осень 1915 г. Хлебников прожил в Куоккала, где встретился с Маяковским. В апреле 1916 г. он был призван на военную службу и зачислен рядовым в 23-й запасный полк, находившийся в Царицыне.

Царская солдатчина с ее издевательски-безобразным отношением к рядовому солдату, тягостная обстановка «чесоточной команды», в которую попал Хлебников, произвела на него исключительно мрачное впечатление. «Я в мягком плену у дикарей прошлых столетий, — пишет он из Царицына. — Я чувствую, что какие-то усадьбы и замки моей души выкорчеваны, сравнены с землей и разрушены. Эти трагические мотивы звучат и в произведениях Хлебникова периода империалистической войны. В своей поэме «Война в мышеловке», составившейся из стихотворений 1915—1916 гг., Хлебников выражает свой антивоенный протест в стихах, полных глубокого отчаяния:

Это смерть идет на перепись
Пищевого довольства червей.
Поймите, люди, да есть же стыд же,
Вам не хватит в Сибири лесной костылей,
Иль позовите с острова Фиджи
Черных и мрачных учителей...

Хлебников не только противостоит милитаристской поэзии идеологов воинствующего империализма, но и пытается выйти за пределы мелкобуржуазного пацифизма. Эти настроения полнее всего выражены в поэме «Невольничий берег» (1917), перекликающейся во многом с поэмой Маяковского «Война и мир», хотя и не достигающей отчетливости антиимпериалистической позиции Маяковского.

Хлебников уже начинает понимать классовую механику империалистической бойни. Он сознает, что капиталисты во имя своей наживы бросают народы в «соломорезку» войны, закупают пушечное мясо:

Мясо, не знающее жалости,
Не знающее жалобы,
Бросает рука
Мировой наживы.

Близость этих настроений Хлебникова к позиции Маяковского во время войны сказывается и в обращении Хлебникова к его художественной манере, к его разговорно-ораторскому стилю, которым написаны в ос-

новном и «Война в мышеловке» и «Невольничий берег».

Но если Маяковский в своем протесте против капиталистического строя и империалистической бойни обладал уже революционной перспективой, то Хлебников в своих чаяниях социальных перемен оставался в плену мечтаний и наивных утопий, фантастичность которых еще более подчеркивалась верой в «законы времени».

Еще в 1916 г. Хлебников пытается организовать «общество 317 членов» (впоследствии названное им «председателями земного шара»), которое, по его мысли, должно было состоять из писателей, ученых, политических деятелей, наподобие платоновского государства философов. Летом 1916 г. Хлебников совместно с группой поэтов (Асеевым, Петниковым) выпускает в Харькове воззвание — «Труба марсиан», в котором излагалась его протестующая, антикапиталистическая позиция. Разделяя общество на «людей прошлого» — «приобретателей», «Труба марсиан» говорила о сочувственном ожидании надвигающейся революции.

2

Революция внесла коренные изменения в мировоззрение и в личную судьбу Хлебникова. Февральские события застали его в военном лагере под Саратовом, куда он

XVI

был отправлен в конце 1916 г. из Царицына. В марте 1917 г. он оставляет военную службу и перебирается в Харьков, а оттуда в Петербург. Февральская революция не удовлетворила Хлебникова, мечтавшего о радикальных переменах, о полной ликвидации буржуазно-капиталистического строя. В автобиографическом рассказе «Октябрь на Неве» Хлебников говорит о своих тогдашних настроениях: «В эти дни странной гордостью звучало слово «большевичка», и скоро стало ясно, что сумерки «сегодня» скоро будут прорезаны выстрелами».

На революцию Хлебников сразу же откликается радостными, приветственными стихами, провозглашая торжество победившего народа:

Свобода приходит наяга,
Бросая на сердце цветы,
И мы, с нею в ногу шагая,
Беседуем с небом на ты,

.....
Да будет народ государем,
Всегда, навсегда, здесь и там!

Октябрьские дни застают Хлебникова в Москве, где он скитается по улицам во время происходивших боев.

В суровые, голодные годы хозяйственной разрухи и гражданской войны беспомощному в житейском отношении, погруженному в свои утопии Хлебникову приходилось особенно трудно. Несмотря на это, годы революции

II В. Хлебников

XVII

были наиболее важным и плодотворным периодом в его творчестве.

Весной 1918 г. он едет на Волгу, пытается пробраться к родным в Астрахань. Затем снова возвращается в Москву, откуда летом 1919 г. отправляется в Харьков, где остается до осени 1920 г. В Харьков Хлебников попадает в период гражданской войны на Украине. Принятый белыми за шпиона, он арестовывается. По освобождении его помещают в психиатрическую лечебницу. После прихода красных войск Хлебников поступает на службу в Политпросвет. К этому времени относятся его поэмы «Ночь в окопе», «Ладомир», «Поэт», «Лесная тоска» и др. По словам одного из лиц, близко знавших этот период его жизни, Хлебников «восторженно отзывался о коммунизме». Однако самый коммунизм представлялся ему в наивно-утопических чертах «новой религии».

В сентябре 1920 г. Хлебников уезжает на юг, в Ростов и дальше — на Кавказ. В ноябре он попадает в Баку, где поступает на работу в бакинское отделение Кавросты. Там он изготовляет агитационные плакаты и сочиняет к ним подписи в стихах. Весной 1921 г. Хлебников отправляется в Иран, где принимает участие в походе иранской народно-революционной армии, числясь лектором культурпросвета и помещая свои стихи в газете «Красный Иран».

В июле Хлебников возвратился в Баку,

откуда вскоре перебрался в Железноводск, а затем в Пятигорск, где поступил в Терросту ночным сторожем — служба, дававшая ему много досуга для занятий литературой.

В конце ноября 1921 г. Хлебников, в надежде на издание своих произведений, пробирается «в вагоне эпилептиков, надорванных и ободранный, в одном больничном халате» (Маяковский) в Москву, куда прибывает лишь 25 декабря совершенно больным и сразу же попадает в больницу. Начало 1922 г. посвящено им переписке и завершению ряда привезенных стихотворений и поэм и изданию «Зангези». В мае Хлебников отправляется на лето в Новгородскую губернию, в дер. Санталово, где тяжело заболевает. Умер Хлебников 28 июня 1922 г. в Коростецкой больнице.

Великую Октябрьскую Социалистическую революцию Хлебников воспринял как исторически неизбежное возмездие старому буржуазно-дворянскому миру, как великую освободительную и очистительную силу.

Хотя, подобно Блоку, Хлебников видел в революции прежде всего «разрушительную стихию», но в то же время он слышал и глубоко переживал «музыку революции», горячо ее приветствуя и веря в творческие силы народа.

Хлебников не был безучастным свидетелем событий, совершавшихся вокруг него. В произведениях советских лет он стремился

передать героический пафос революции. В поэмах «Прачка» и «Настоящее» он показывает гнилость и обреченность старого «страшного мира», мира неравенства и угнетения. Яркими красками рисует он борьбу двух миров: мира господ с их роскошной и праздной жизнью, с их дворцами в «лебяжьих покрывалах снега», и мира нищеты и голода, мира бедняков, ютящихся на окраине города, на свалке, Горячем поле, в теплых кучах конского навоза. Непримируемой ненавистью к угнетателям и верой в светлое будущее народа звучит речь работницы, героини поэмы «Прачка», «дочери народа», призывающей к беспощадной борьбе с «барами», к борьбе с царизмом:

Слушайте! люди Горячего поля,
Здесь ведь живет девушка Воля —
Наша красивая доля.
Ее давно любила очи я,
Простые, рабочия.
Я девушка русская, я, чернорабочая,
Сегодня вас свободой потчую.
Люди! Люди! Не будет боле
Боли и голи!

Тема революции как исторического возмездия, как мощного народного восстания проходит через большинство произведений Хлебникова послеоктябрьского периода. Признав правду и высшую справедливость революции, Хлебников стремился воплотить ее в художественных образах. В своей поэме

«Ладомир», названной В. Маяковским, напечатанной в «Лефе», «изумительнейшей книгой», Хлебников писал о революции:

И замки мирового торга,
Где бедности сияют цепи,
С лицом злорадства и восторга
Ты обратишь однажды в пепел.

Однако самая революция представлялась ему лишь могучей, всеокрушающей стихийной силой, гневом восставшего народа, разрушающего до основания старый мир.

В таких поэмах, как «Ладомир», «Прачка», «Настоящее», «Зангези», Хлебников прежде всего говорит об этом разрушении старого мира, о народном восстании, восстании бедняков против богатей, крестьян против помещиков, «творян» — людей нового справедливого строя, людей творчества и труда — против тунеядцев и эксплуататоров:

Это шествуют творяне,
Заменивши Д на Т,
Ладомира соборяне
С Трудомиром на шесте!

Революция открыла Хлебникову глаза и на историю. Хлебников в своей поэме «Ночь перед Советами» показал жестокие картины крепостного прошлого, рассказал простыми и сильными словами о том, как помещики заставляли женщин грудью вскармливать барских щенят, как засекали крепостных.

Но не понимая социалистического характера Октябрьской революции, Хлебников воспринимал ее как стихийное крестьянское восстание, как новый «Разина мятеж». Не случайно поэту и образ Разина, близкий Хлебникову еще до революции, занимает такое большое место в его творчестве последних лет («Разин», «Уструг Разина» и др.):

И Разина глухое «слышу»
Подымется со дна холмов;
Как знамя красное взойдет на крыши
И поведет войска умов.

Противоречивость идей и представлений Хлебникова о революции сказались и в одной из лучших его поэм — «Ночь в окне», вышедшей в 1921 г. С одной стороны, поэма проникнута горячей верой в победу и величие Октябрьской революции, признанием ее правды:

Рать алая! Твоя игра. Нечисты масти
У вымирающего белого!

Огромным уважением и любовью к великому вождю трудящихся В. И. Ленину проникнуты строки поэмы, посвященные его образу. Ленин олицетворяет для Хлебникова высшую правду революции, он — тот, «в ком труд увидел друга», кто «начертал» великий завет социализма, завет трудящихся: «Ленивый да не ест. Труд свят и зверолова». Но в то же время Хлебников не может освободиться и здесь от своего наивного утопизма,

выражающегося в том, что социалистическая революция была воспринята не столько в ее реальных чертах, в ее великой перестраивающей весь мир разумной силе, сколько в плане открывавшихся возможностей для осуществления на обломках старого мира своих фантастических проектов и идей.

Этот утопизм сказался прежде всего в представлении Хлебникова о будущем человечества, рисовавшемся ему в виде мирной идиллии («лада мира»), основанной на овладении освобожденным человеком фантастическими «законами времени», о чем он говорит в «Ладомире»:

Это будут из времени латы
На груди мирового труда,
И числу, в понимании узда,
Передастся правительств узда.
Это будет последняя драка
Раба голодного с рублем,
Славься, дружба пшеничного злака
В рабочей руке с молотком!

Хлебников мечтает открыть «законы времени» («доски судьбы»), которые дали бы возможность осуществить космический переворот и построить жизнь на их основе. Хотя сам Хлебников приписывал своим теориям «научное» значение, однако его «фантастико-исторические работы», по меткому определению В. Маяковского, в основе своей были той же «поэзией», тем же художественным творчеством. Представляет здесь

известный интерес другое — попытка ввести в поэзию элементы науки, подчинить им строй поэтических образов.

Если в дореволюционный период Хлебников охотно обращался к прошлому, то после Октября он мечтает о будущем, мечтает о счастливой жизни освобожденного от классового гнета человечества. Правда, эти утопии Хлебникова далеки от сколько-нибудь реального понимания характера общественного развития, от конкретной исторической перспективы. В них Хлебников передает свое абстрактно-утопическое, «космическое» представление о путях революции, о будущем человечества. Он мечтает о городах будущего, построенных из стеклянных ячеек, о массовом распространении телевидения, о «пахаре», летающем на самолете, о победе свободного человека над природой. Хотя эти мечты, часто по-детски наивные, и сочетаются с фантастическими вычислениями «законов времени», но в основе их лежит желание угадать будущее возрожденного человечества, лежит исторический оптимизм, рожденный Великой Октябрьской революцией.

Так, в поэме «Ладомир» Хлебников рисует будущее человечества, пришедшего на основе науки к пантеистической гармонии, осуществляемой уже в результате победы науки и человека над природой:

Пусть Лобачевского кривые
Украсят города

Дугою над рабочей вышей
Всемирного труда.
И будет молния рыдать,
Что вечно носится слугой,
И будет некому продать
Мешок от золота тугой.

За недолгие годы своей послеоктябрьской литературной деятельности Хлебников все увереннее шел к революции, стремясь в то же время сделать свое творчество более простым и понятным.

3

Следует особо остановиться на художественных принципах Хлебникова, на его работе над стихом, над поэтическим словом. Напомним, что В. Маяковский называл Хлебникова «Колумбом новых поэтических материков, ныне заселенных и возделываемых нами».¹

В чем же был смысл и значение этой работы Хлебникова над стихом, столь высоко оцененной Маяковским? Прежде всего — в смелости подлинного художника, который страстно и напряженно ищет новых форм, новых слов для выражения своих мыслей и переживаний. Хлебников на всем протяжении своего творческого пути неутомимо работал над поэтическим словом, испробуя

¹ В. В. Маяковский. Полное собрание сочинений, т. XII, М., 1937, стр. 33.

неисчерпаемые возможности русского языка. Многие в этой работе носило сугубо лабораторный и формалистический характер, но многое, в особенности в тех случаях, когда Хлебников обращался к народному творчеству и языку, способствовало дальнейшему росту поэзии, расширению ее «поэтических материков».

Обычно, говоря о работе Хлебникова над словом, имеют в виду его «заумные» и экспериментальные стихи, его фантастические языковые теории. Эта формалистическая сторона творчества Хлебникова и подымалась на щит в период футуризма, являясь даже знаменем для той части футуристов, которая проповедывала формалистическую заумь и нигилистический «эпатаж» (Д. Бурлюк, А. Крученых и др.).

Однако творческие искания Хлебникова никогда не ограничивались этим «заумным» экспериментаторством и формалистическим словотворчеством. Даже в ранний период своей литературной деятельности он двигался в разных направлениях, обращаясь и к классической поэзии, и к фольклору, и к разговорному языку, стремясь на их основе обновить поэзию, замкнувшуюся у символистов и акмеистов в узком эстетизованном кругу книжных представлений и слов. В этом отношении Хлебников своей работой над стихом содействовал тому грандиозному перевороту в поэзии, который был совершен Маяковским, сблизившим поэзию с живой

народной речью, преобразовавшим основные принципы русского стихосложения.

Для понимания стихов Хлебникова дореволюционного периода особенно существенна поэтика смысловых и композиционных «сдвигов», характеризовавшая в значительной мере художественные принципы футуризма в целом.

Эта система «сдвигов» нагляднее всего сказалась в футуристической живописи, в кубизме, где реальные предметы представлялись в деформированном виде, отражая субъективно-импрессионистический подход художника к действительности. Субъективистское и формалистическое отношение к искусству приводило к абстрактному, бессюжетному комбинированию отдельных формальных элементов картины (линия, цвет, фактура) в живописи и к «заумному» комбинированию отдельных элементов стиха (звуча, ритма, особых образов) в поэзии. Попыткой такой живописи звуками является и экспериментальное стихотворение Хлебникова «Бобэбби пелись губы», где путем «звуконписи» он пытается дать «портрет»:

Бобэбби пелись губы,
Вээбби пелись взоры,
Пиээо пелись брови,
Лиэээо пелся облик,
Гзи-гзи-гээо пелась цепь.
Так на холсте каких-то соответствий
Вне протяжения жило Лицо

Превращение картин в живых людей в пьесе Хлебникова «Маркиза Дезес», «восстание вещей» в поэме «Журавль», смешение исторических планов в «Детях выдры», подчеркнутая немотивированность отдельных образов и неожиданных смысловых сдвигов в ранних произведениях Хлебникова — достаточно полно иллюстрируют этот формалистический характер поэтики футуризма.

Обновление поэтического восприятия, к которому стремились футуристы, достигалось ими путем разрушения привычных связей и ассоциаций. Этот субъективизм в отношении к действительности, это стремление представить явления реального мира как якобы впервые увиденные поэтом, определяли необычность и разорванность ассоциаций и импрессионистический характер образов Хлебникова:

О достоевскиймо бегущей тучи,
О пушкиноты млеющего полдня,
Ночь смотрится, как Тютчев,
Безмерное замирным полям.

В дальнейшем эта немотивированность и случайность ассоциаций, столь характерная для раннего Хлебникова, постепенно исчезает, хотя импрессионистичность образов сохраняется.

Импрессионизм образа, даже самая фрагментарность произведений Хлебникова тесно связаны с самым принципом перифрастического, «бокового» показа темы и идеи, по-

степенно возникающих из как бы пунктиром намечающих их образов, несвязанных друг с другом тематической зависимостью.

Но в то же время в основе этих импрессионистически-зыбких образов, этих, казалось бы, случайных, неповторимых ассоциаций лежит тонкая и зоркая наблюдательность поэта, зрительная точность деталей. Зеленый тополь — «весеннего Корана веселый богослов» — рисуется Хлебникову рыбаком, ловящим «зеленым неводом» своих ветвей и листьев «сонную тучу» в синеве неба:

Весеннего Корана
Веселый богослов,
Мой тополь спозаранок
Ждал утренних послгов.

Образы, метафоры и сравнения Хлебникова, несмотря на их импрессионизм, сохраняют свою конкретную изобразительность и зрительную живописность. Все дело здесь в субъективизме «раккурса», в своеобразии поэтического зрения Хлебникова, который сближает предметы и понятия реальной действительности по их второстепенным ассоциативным признакам. Вот для примера перифрастический и в то же время точно изобразительный образ Раина из поэмы «Уструг Раина»:

Был заперт порох в рог коровы,
На голове его овца.
И говор краткий и суровый
Шумел о подвигах пловца.

Сочетание зрительной конкретности со свежестью восприятия и смелостью образа отличает большинство произведений Хлебникова, в особенности изображение природы и пейзажа, говорящие о его большой поэтической чуткости и зоркости:

И сумрак, как седой камчатский бобр,
Одел красавицу Неву.

Или описание осеннего пейзажа в поэме «Поэт»:

Как осень изменяет сад,
Дает багрец, цвет синей меди
И самоцветный водопад
Снегов предшествует победе,
И жаром самой яркой грезы
Стволы украшены березы,
И с летней зеленью проститься
Летит зимы глашатай — птица,
Где тонкой шалью золотой
Одет откос холмов крутой...

Хлебников являлся одним из реформаторов русского стиха, одним из создателей той свободной, акцентной (ударной) тонической ритмики, которая прочно вошла в современную поэзию. Он деформировал метрический стих, создавая новый «вольный размер». В пределах одного и того же произведения Хлебников переходит от одного ритмико-синтаксического строя к другому, сочетая в нем самые разнообразные метрические ходы и вводя разговорную интонацию, песенные ритмы.

Уже в стихах 1908—1909 гг. Хлебников создает «вольный размер», впервые примененный им в поэме «Журавль» (1909), во многом помогая этим формированию ритмики ранних стихов Маяковского:

Трубы, стоявшие века,
Летят,

Движениям подражая червяка,
Игривей в шалости котят.

Тогда части поездов, с надписью «для
куращих» и «для служилых»,
Остов одели в сплетенные друг с другом
жилы.

Близки к каламбурной рифме Маяковского и такие составные рифмы Хлебникова, как, например: «в изгибе ль» — «погибель», «осы они» — «осени» и т. п. в той же поэме «Журавль». Работа Хлебникова над стихом, над его ритмом, интонацией, рифмой, имевшая еще экспериментальный характер, оказалась во многом полезной Маяковскому, подлинному революционному новатору, подымавшему русский стих на новую высоту.

Но при всех своих поисках и экспериментах Хлебников в то же время связан с классическими традициями русской поэзии. Уже самое обращение к эпосу, к большим монументальным произведениям отличало поэзию Хлебникова от стихов символистов, хотя его поэмы чаще всего оставались фрагментарными и незаконченными. Сказочные, шуточные поэмы «Шаман и Венера», «Вила

и леший», «Внучка Малуши» перекликаются с «проико-комической» поэмой XVIII в. Многие из стихотворений Хлебникова по своему ритмико-синтаксическому строю и языку восходят зачастую к классическому стиху:

Где раньше пела детвора,
Там волны, с криками «ура»,
Ломают бедное селенье.
Везде мычащие стада
Как будто ревом помогают,
И из купален без стыда
Нагие люди выбегают.

Хлебников тяготеет к высоким одическим жанрам, к архаическому стилю и высокой патетике поэзии XVIII в. (Ломоносова, Державина), с ее перифрастическим стилем, с ее «сопряжением далековатых идей», гиперболами и метафорами.

Эта связь с классической русской поэзией, обращение Хлебникова к Ломоносову, Державину, Пушкину, Некрасову (а в прозе и к Гоголю), помогала ему преодолевать формалистические тенденции футуризма, найти дорогу к своим лучшим, основным произведениям.

Как для самого Хлебникова, так и для поэтической практики и теории русского футуризма большое значение имели его языковые теории и экспериментаторское «словотворчество». В своем «словотворчестве» Хлебников исходит, однако, из идеалистического и формалистического подхода

к слову и языку. Он пытался создать особый, оторванный от жизни язык, пользуясь «самовитым словом вне быта и жизненных польз». Однако работа Хлебникова над языком шла в разных направлениях. В начальный период своего творчества он стремился при помощи существующих в языке предлогов и суффиксов создать новые словообразования, которые, не нарушая закономерностей русского языка, обогатили бы его новыми словами. Таково, например, одно из его известнейших экспериментальных стихотворений «Заклятие смехом»:

О, рассмейтесь, смехачи!

О, засмейтесь, смехачи!

Что смеются смехами, что смеяньствуют
смеяльно...

В этом стихотворении, как и во многих других подобных, Хлебников пользуется корнями существующих слов и, прибавляя к ним предлоги и суффиксы, создает новые однокоренные слова, по аналогии с живыми, действующими в языке законами словообразования («смехачи» по аналогии с «бородачи», «рассмешище» — с «посмешище», «смеярышня» — с «боярышня» и т. п.). Наряду с этими словообразованиями Хлебников обращался и к замене иностранных слов русскими или заново образованными (вместо театр — «дегинец», вместо авиатор — «летатель»). Это стремление Хлебникова к замене иностранных слов русскими, ввод им

старинных русских и славянских слов и оборотов («чертоги», «объяз простор в свои кова», «стеяз», «глагол любви» и т. п.) во многом связаны были с его увлечениями русской стариной.

В своих языковых теориях Хлебников возвращался к той магической теории слова, которая выдвигалась символистами («Поэзия, как волшебство» К. Бальмонта). Отсюда «перевертни» Хлебникова, его игра со сходно звучащими, но далекими по смыслу словами, путем сопоставления которых он стремился обнаружить их внутреннее сродство (бес — бос, черный и чорт и т. п.). Это идеалистическое содержание языковых теорий Хлебникова, их формалистический характер связывали и его творческую практику.

В дальнейшем утопические мечты об едином человечестве привели Хлебникова к мысли о создании всеобщего «мирового языка». В своих статьях Хлебников выдвигал «задачу единого мирового научно построенного языка», основанного на символическом значении каждой буквы азбуки. На основе этих фантастических теорий Хлебниковым написан целый ряд произведений (в частности стихотворение «Слово о Эль»), которые должны были, по его мнению, показать практическую возможность применения его «звездного языка». В своих лингвистических теориях Хлебников близок к тем идеям «философского языка», которые высказывала еще рационалистическая философия XVII в.

(Декарт, Лейбниц). Работа над созданием такого универсального языка понятий, обозначаемых буквенным шифром (практически неприменимого), обескровливала, однако, собственное творчество Хлебникова, приводя его к формалистическому экспериментаторству («Царапина по небу»).¹

Великая Октябрьская революция не только внесла радикальные перемены в мировоззрение и тематику Хлебникова, но и заставила его в значительной мере пересмотреть свои творческие принципы. Хлебников выходит из той кружковой, богемной атмосферы, в которой складывался футуризм. Он знакомится с новым кругом людей, в своих скитаниях близко соприкасаясь с народом.

Работа Хлебникова в Росте, где он ставлял подписи к плакатам (из них выросли такие стихотворения, как «Кавз-Кузнец», «От утра и до ночи» и др.), сказалась и на его произведениях, в которых появился не только новый словарь, но и большая простота, законченность и смысловая ясность.

Революция наполнила его произведения новым содержанием, нуждавшимся в иных художественных формах, чем те, которые мог дать футуризм. Под влиянием окружающей его новой жизни Хлебников выходит за пределы своей искусственной словесной лаборатории, обращаясь к разговорной речи

¹ О языковых теориях Хлебникова см. содержательную статью В. Гофмана в его книге «Язык литературы», Гослитиздат, 1936.

и современному фольклору. В этом отношении чрезвычайно характерно его обращение к Некрасову, с такой отчетливостью сказавшееся в поэме «Ночь перед Советами», посвященной изображению безотрадной доли крепостной крестьянки:

Барин удалый к бабе приедет,
Даст ей щеночка:

.....
«Холи и люби, корми молоком!
Будет тебе богоданным сынком».

Хлебников усиленно работает теперь над созданием произведений, которые основаны на вводе в поэзию новых пластов народного языка, вынесенных на поверхность революцией. В таких поэмах, как «Ночь перед Советами», «Прачка», «Настоящее», Хлебников стремился передать естественность разговорной речи, бытовую интонацию, народный говор:

Бары, дело известное!
Из сословья имущего.

Эти поэмы следует сопоставить с «Двенадцатью» Блока. Они близки к поэме Блока не только своим восприятием революции как стихийной силы, но и своими художественными принципами.

Стихийническое восприятие революции у Хлебникова, как и у Блока, привело к тому, что он обращается прежде всего к «песням улицы», к песням и частушкам, передающим

бесшабашную удаль деклассированных городских низов. Этот частушечный ритм уличной песни в стихах Хлебникова почти цитатно перекликается с «Двенадцатью» Блока:

А белье мое всполосну, всполосну!

А потом господ
Полосну, полосну!

И — их!

— Крови лужица!

— В глазах кружится!

(Ср. у Блока в «Двенадцати»:

Уж я ножичком полосну, полосну!

Уж я семечки полушу, полушу!..

и т. д.)

Для творчества Хлебникова важен его интерес к народной поэзии, к фольклору. Уже в своих ранних произведениях Хлебников широко обращался к сказке, песне, былинке. «Языческие» поэмы Хлебникова — «Ви́ла и леший», «Шаман и Венера», «Лесная дева», или такие драматические произведения его, как «Снежини», «Чортик», «Девый бог», целиком связаны с фольклором. Близость к фольклору не только в сказочности сюжетов и персонажей произведений Хлебникова, но и в использовании им стилистических средств фольклора.

В народной песне, в памятниках древнерусской культуры, в языке «Слова о полку Игореве» (о котором с восхищением он упоминает) ищет Хлебников путей к обновлению

поэзии. О своем любовном отношении к народному творчеству и языку Хлебников говорит уже в одном из писем начала 1913 г., ставя своей задачей «заглядывать в словари славян, черногорцев и др. — соби́рание русского языка не окончено — и выбрать многие прекрасные слова, именно те, которые прекрасны. Одна из тайн творчества — видеть перед собой тот народ, для которого пишешь...»

Однако в дореволюционные годы в своем обращении к фольклору Хлебников далек от усвоения подлинного народного духа, простоты и ясности народного творчества. Он во многом следует еще стилизаторски-украшательскому отношению к фольклору, которое свойственно было символистам — А. Ремизову, Вяч. Иванову, К. Бальмонту, С. Городецкому и др. В ранних произведениях Хлебникова интерес к фольклору связан прежде всего с его устремлением к прошлому, к русской старине.¹ Он обращается к архаическим формам фольклора, к славянской мифологии, к древнерусскому и церковно-славянскому языку, отрывая фольклор от его живого бытования, ориентируясь на наиболее архаические черты в нем. Характерно в этом отношении использование им культового фольклора, заговоров, заклина-

¹ См. статью А. Дымшица «Маяковский и народное творчество» в его книге «Литература и фольклор», Гослитиздат, М., 1938, стр. 58—62.

ний (например, «Ночь в Галиции», где приводится фантастическая «песня ведьм» из старинного сборника Сахарова). Поэтому многие произведения Хлебникова этих лет написаны не живым народным языком, а архаически стилизованы под старину.

В послеоктябрьский период фольклор занимает в творчестве Хлебникова значительное место: большинство крупных произведений этого периода («Ночь в окопе», «Прачка», «Настоящее», «Уструг Разина») ориентировано на использование фольклора. Об усиленном интересе к фольклору свидетельствуют и сохранившиеся записные книжки Хлебникова с записями народных песен и слов.

Песенные и частушечные ритмы его стихов и поэм, словарь, образы, иногда даже темы восходят к фольклору. Правда, и здесь Хлебников не делает отбора между подлинным народным творчеством и фольклором городских низов, мещанскими и улично-блатными песнями.

Фольклор во многом обогатил творчество Хлебникова, дал ему ту языковую жизненность и выразительность, которой зачастую нехватает его стихам, перегруженным искусственным головным изобретательством. Подлинной художественной полноценности поэтому достигают такие произведения Хлебникова, в которых он идет не путем отвлеченного эксперимента, а обращается к народной песне, к народному языку.

Творчество Хлебникова занимает в русской поэзии начала XX в. значительное место. Поэт, горячо стремившийся выйти за пределы предреволюционной упадочной поэзии, искренно принявший Великую Октябрьскую Социалистическую революцию, Хлебников был воистину «честнейшим рыцарем» поэзии, преданно ей служившим. Многие из того, что было сделано им для обновления русского стиха, вошло в советскую поэзию.

Не случайна поэтому и высокая оценка Хлебникова лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи — Владимиром Маяковским.

Н. Степанов.

ПОЭМЫ

ЗВЕРИНЕЦ

О Сад, Сад!

Где железо подобно отцу, напоминающему братьям, что они братья, и останавливающему кровопролитную схватку.

Где немцы ходят пить пиво.

А красотки продавать тело.

Где орлы сидят подобны вечности, оконченной сегодняшним еще лишенным вечера днем.

Где верблюд знает разгадку буддизма и затаил ужимку Китая.

Где олень лишь испуг, цветущий широким камнем.

Где наряды людей баскующие.

А немцы цветут здоровьем.

Где черный взор лебедя, который весь подобен зиме, а клив — осенней рожице — немного осторожен для него самого.

Где синий красивейшина роняет долу хвост, подобный видимой с Павдинского камня Сибири, когда по золоту пала и зелени леса брошена синяя сеть от облаков и все это разнообразно оттенено от неровностей почвы.

Где обезьяны разнообразно сердятся и выказывают концы туловища.

Где слоны, кривляясь, как кривляются во время землетрясения горы, просят у ребенка поест, влагая древний смысл в правду: есть хоуу! поесть бы! и приседают, точно просят милостыню.

Где медведи проворно влезают вверх и смотрят вниз, ожидая приказания сторожа.

Где нетопыри висят подобно сердцу современного русского.

Где грудь сокола напоминает перистые тучи перед грозой.

Где низкая птица влачит за собой закат, со всеми углами его пожара.

Где в лице тигра, обрамленном белой бородой и с глазами пожилого мусульманина, мы чтим первого магометанина и читаем сущность Ислама.

Где мы начинаем думать, что веры — загибающие струи воли, разбег которых — виды.

И что на свете потому так много зверей, что они умеют по-разному видеть бога.

Где звери, устав рыкать, встают и смотрят на небо.

Где живо напоминает мучения грешников тюлень, с неустанным воплем носящий ся по клетке.

Где смешные рыбокрылы заботятся друг о друге с трогательностью старосветских помещиков Гоголя.

Сад, Сад, где взгляд зверя больше значит, чем груды прочтенных книг.

Сад.

Где орел жалуется на что-то, как усталый жаловаться ребенок.

Где лайка растрчивает сибирский пыл, исполняя старинный обряд родовой вражды при виде моющейся кошки.

Где козлы умоляют, продевая сквозь решетку раздвоенное копыто, и машут им, придавая глазам самодовольное или веселое выражение, получив требуемое.

Где полдневный пушечный выстрел застывает орлов смотреть на него, ожидая грозы.

Где орлы падают с высоких насестов, как кумиры во время землетрясения с храмов и крыш зданий.

Где косматый, как девушка, орел смотрит на небо, потом на лапу.

Где видим дерево-зверя в лице неподвижно стоящего оленя.

Где орел сидит, повернувшись к людям шеей, и смотрит в стену, держа крылья странно распушенными. Не кажется ли ему, что он парит высоко над горами? Или он молится?

Где лось целует через изгородь плоскогого буйвола.

Где черный тюлень скачет по полу, опираясь на длинные лапы, с движениями человека, завязанного в мешок, и подобный чугуному памятнику, вдруг нашедшему в себе приступы неудержимого веселья.

Где косматовласый Иванов вскакивает и бьет лапой в железо, когда сторож называет его «товарищ».

Где олени стучат через решетку рогами.
Где утки одной породы поднимают еди-
душный крик после короткого дождя, точно
служба благодарственный молебен утиному—
имеет ли оно ноги и клюв? — божеству.

Где пепельно-серебряные цесарки имеют
вид казанских сирот.

Где в малайском медведе я отказываюсь
узнать северянина и открываю спрятавшегося
монгола.

Где волки выражают готовность и пре-
данность.

Где, войдя в душную обитель попугаев, я
осыпаем единодушным приветствием «дюр-
рак!»

Где толстый, блестящий морж машет, как
усталая красавица, скользкой черной вееро-
образной ногой и после прыгает в воду,
а когда он вскатывается снова на помост,
на его жирном, грузном теле показывается
с ключей щетиной и гладким лбом голова
Нише.

Где носорог носит в бело-красных глазах
неугасимую ярость низверженного царя и
один из всех зверей не скрывает своего
презрения к людям, как к восстанию рабов.
И в нем затаен Иоанн Грозный.

Где чайки с длинным клювом и холодным
голубым, точно окруженным очками глазом,
имеют вид международных дельцов, чему
мы находим подтверждение в искусстве, с
которым они похищают брошенную тюле-
ням еду.

Где, вспоминая, что русские величали сво-
их искусных полководцев именем сокола, и
вспоминая, что глаз казака и этой птицы
один и тот же, мы начинаем знать, кто были
учителя русских в военном деле.

Где слоны забыли свои трубные крики и
издают крик, точно жалуются на расстрой-
ство. Может быть, вида нас слишком нич-
тожными, они начинают находить призна-
ком хорошего вкуса издавать ничтожные
звуки? Не знаю.

Где в зверях погибают какие-то прекрас-
ные возможности, как вписанное в Часо-
слов «Слово Полку Игореве».

[1909]

ШАМАН И ВЕНЕРА

Шамана встреча и Венеры
Была так кратка и ясна:
Она вошла во вход пещеры,
Порывам радости весна.
В ее глазах светла отвага
И страсти гордый гневный зной:
Она пред ним стояла нага,
Блестя роскошной пеленой.
Казалось, пламенный пожар
Ниспал, касаясь древка снега.
Глаз голубых блестел стожар,
Прося у желтого ночлега.
«Монгол! — свои надувши губки,
Так дева страсти начала.
(Мысль, рождена из длинной трубки,
Проводит борозды чела.) —
Ты стар и бледен, желт и смугол,
Я же — роскошная река!
В пещере дикой дай мне угол,
Молю седого старика.
Я, равная богиням,
Здесь проведу два-три денька.
Послушай, рухлядь отодвинем,
Чтоб сесть двоим у огонька.
Ты веришь? — видишь? — снег и вьюга!

А я, владычица царей,
Ищу покрова и досуга
Среди сибирских дикарей.
Еще того недоставало
Покрыться пятнами угрей.
Монгол! Монгол! как я страдала!
Возьми меня к себе, согрей!»
Покрыта пеплом из снежинок
И распутив вдоль рук косу,
Она к нему вошла. Как иннок
Он жил один в глухом лесу.
«Когда-то храмы для меня
Прилежно воздвигала Греция.
Могол, твой мир обременя,
Могу ли у тебя согреться я?
Меня забыл валять художник.
Мной не кланется больше витязь.
Народ безумец, народ безбожник,
Куда идете, оглянитесь?» —
«Не так уж мрачно. —
Ответил ей, куря, шаман. —
Озябли вы, и неудачно
Был с кем-нибудь роман». —
«Подумай сам: уж перси эти
Не трогают никого на свете.
Они полны млека, как крыльки.
(По щекам катятся слезинки.)
И к красоте вот этой выи
Холодны юноши живые.
Ни юношей, ни полководцев,
Ни жен любимцев, ни уродцев,
Ни утомленных стариков,
Ни в косоворотках дураков.

Они когда-то увлекали
Народы, царства и престолы,
А ныне, кроткие, в опале,
Томятся спрятанные в полы.
И веришь ли? меня заставили одеть
Вот эти незабудки,
Ну, право, лучше умереть,
Чем эти шутки.
Это жестоко». Она отошла
И, руки протянув, вздохнула.
«Как эта жизнь пошла!»
И руки к небу протянула.
«Всё, всё, монгол, всё, всё — тшета.
Мы — дети низких вервий.
И лики девы — нищета,
Когда на ней пируют черви!»
Шаман не верил и смотрел,
Как дева (золото и мел)
Присела, зарыдав,
И речь повел, сказав:
«Напрасно вы сели на обрубок.
Он колок и оцарапает вас».
Берет с стола красивый кубок
И пьет, задумчив, русский квас.
Он замолчал и тих курил,
Смотря в вечернее пространство.
Любил убрать, что говорил,
Он в равнодушия убранство.
И дева нежное спасибо
Ему таинственно лепечет.
И глаза синего изгиба
Взор шаловливо мечет
И смотрит томно, пбо

Он был красив, как белый крикет.
Часы летели и бежали,
Они в пещере были двое.
И тени бледные дрожали
Вокруг вечернего покоя.
Шаман молчал и вдаль глядел,
Венера вдруг зевнула.
В огонь шаман глядел.
Венера же уснула.
Заветы строгие храня
Долга к пришельцам святого,
Могол сидел, ей извиня
Изгибы тела молодого.
Ах, ах! — она во сне вздыхала,
Порою глазки открывала,
Кого-то слабо умоляла,
Защитой руку подымая,
Кому-то нежно позволяла
И улыбалась младая.
И вот уж утро. Прокричали
На слях бледные дровды.
Полна сомнений и печали
Она на омутный лик звезды
Взирала робко и порой
О чем-то тихо лепетала,
Про что-то тихо напевала.
Бледнело небо и светало.
Входило солнце. За горой
О чем-то рожа лепетала.
От сна природа пробудилась,
Младой зари подняв персты.
Венера точно застыдилась
Своей полночной наготы,

И добродетели стезей идя неопытной ногой,
Она раздумывала: прилично ли нагой
Явиться к незнакомому мужчине.
Но был сокрыт ответ богини.
«Он мало мне знаком»,
Она в уме своем решила,
Сорвать листочек поспешила
И тело бледное прикрыла
Березы черным лепестком.
И великодушный к ней могол
Ей бросил шкуру рыся.
И дева, затаив глагол,
Моголу бросила взор выси.
От кос затылок оголив,
Одна, без помощи подруг,
Она закручивает их в круг.
Но тот как раньше молчалив.
Затылок белый так прекрасен,
Для чистых юношей так ясен.
Но, лицемерия престол,
Сидит задумчивый могол.
Венера ходит по пещере
И в горести ломает руки.
«Это какие-то звери!
Где песен нежных звуки?
От поцелуев прежних зноя.
Могол! могол, спаси меня!
Я вся горю! горя и ноя,
Живу, в огнистый бубен чувств звеня.
Узнай же! знаешь, что тебе шепну на ухо?
Ты знаешь? знаешь? — я старуха!..
Никто не пишет нежных писем,
Никто навстречу синим высям

Влюбленных глаз уж не подъемлет,
Но всякий хладно с книжкой дремлет.
Но всякий хладно убегает
Прочь от себя за свой порог,
Лишь только сердце настагает
Любви назначенный урок.
Как все это жестоко! —
Сказала дева, вдруг заплакав: —
Скажи хоть ты: ужель с востока
Идет вражда к постелям браков?
К ногам снегов, к венкам из маков?
С хладом могилы отрок одинаков.
Но неразговорчив и сердит
Как будто тот сидит.
Напрасно с раннего утра
Раньше многоголосых утра дудок
Она из синих незабудок,
В искусстве нравиться хитра,
Сплела венок почти в шесть сажень
И им обвилась для нежных дел.
Попрежнему монгол сидел,
Угрюм, задумчив, важен.
Вдруг сердце громче застучало.
«Могол, послушай, — так начала
Она: — Быть может речь моя чудна
И даже дика и мало прока.
Я буду здесь бродить одна
(Ты знаешь: я ведь одинока.)
Срывать цветы в густом лесу,
Вплетать цветы в свою косу.
Вдали от шума и борьбы,
Внутри густой красивой роши
Я буду петь, собирать грибы,

Искать в лесу святого мощи,
Что может этой жизни проще?» —
«Изволь, душа моя, — ответил
Могол с сияющей улыбкой. —
Я даже в лесу встретил
Дупло с прекрасной зыбкой».
В порыве нежном хорошея,
Она бросается ему на шею.
Его ласкает и целует.
Ниспали волосы как плащ.
Могол же морщится, тоскует.
Она в тот миг была палач.
Она рассказывает ему
Про вредный плод куренья.
«Могол, любезный, не кури!
Внемли рыданью моему».
Он же с глазами удовлетворенья
Имя произносит Андуря.
Шаман берет рукою бубен
И мчится в пляске круговой.
Ногами резвыми стучит,
Венера скорбная молчит
Или сопровождает голос трубен,
Дрожа звенящей тетивой.
Потом хватает лук и стрелы
И мимо просьб, молитв, молений
Идет охотник гордый, смелый
К чете пасущихся оленей.
И он таинственно исчез,
Где рос густой зеленый лес.
Одна у раннего костра
Венера скорбная сидит.
То грусть. И ей сестра,

Она задумчиво молчит.
Цветы сплетая в сарафан,
Как бело-синий истукан
Глядит в необеспокоенные воды —
Зеркало окружающей природы.
Поет, хохочет за двоих.
Или достает откуда-то украдкой
Самодержавия портных
Новое уложение законов.
И шепчет тихо: «как гадко!»
Или «как безвкусно... фу, вороны!»
Сам-друг с своею книжкой
Она прилежно шепчет, изучает,
Воркует, меряет подмышкой
И... не скучает.
И воды после переходит
И на поляне светлой бродит.
Сплетает частые венки,
На косах солнца седоки.
О чем-то с горлинкой воркует
И подражательно кокует.
Венера села на сосновый пенёк
И шепчет робко: «Ветер телепень!»
Один лишь ты меня ласкаешь
Своею хрупкою рукою,
Мне один не изменяешь,
Людей отринувши покой.
Лишь тебе бы я дарила
Сном насыщенный ночлег,
Двери я бы отворила,
Будь ты отрок, а не бег...
Будь любимый человек...
Букашки и всё то, что мне покорно!

Любите, любите друг друга проворно!
Счастье не вернется никогда!»
И вот приходит от труда,
Ему навстречу выбегает,
Его целует и ласкает,
Берет оленя молодого,
На части режет, и готово
Ее страшни простое блюдо;
Сидит и ест... ну право же не худо!
Шаман же трубку тихо курит
И взор устало томно шурит.
И как чудесная страна
Пещера в травы убрана.
Однажды белый лебедь
Спустился с синей высоты,
Крыло погибшее колебит
И умирая стонет: «Ты!
Иди, иди! тебя зовут,
Иди, верши свой кроткий труд.
От крови черной негий
Я, умирающий, клянусь:
Иди, иди, чаруя негой,
Свою забытую страну.
Тебе племен твоих собор
Готовит царственный убор.
Иди, иди, своих лелея!
Ты им других божеств милее.
Я, лебедь умирающий, клянусь:
Дитя, вернись в свою страну.
Забыв страну озер и мохов,
Иди, приемля дань из вздохов»,
И лебедь лег у ног ея,
Как белоснежная змея.

Он умирающий молил
И деву страсти умилил.
«Шаман, ты всех земных мудрей!
Как мной любима смоль кудрей,
И вгляд высокого чела,
И взгляда острая пчела.
Я это всё оставлю,
Но в песнях юноши прославлю.
Вот эти косы и эту грудь,
Ведун мой милый, всё забудь!
И водопад волос могуче рыжий,
И глаз огонь моих бесстыжий.
И грудь и твердую и каменную,
И духа кротость пламенную.
Как часто после мы жалеем
О том, что раньше бросим!»
И, взором нежности лелеем,
Могол ей молвит: «Просим
Нас не забывать,
И этот камень дикий, как кровать
Он благо заменял постели,
Когда с высокой ели
Насмешливо свистели
Златые свиристели».
И с благословляющей улыбкой
Она исчезает ласковой ошибкой.

[1912]

ВИЛА И ЛЕШИЙ

Мир

Горбатый леший и младая
Сидят, о мелочах болтая.
Она, дразня, пьет сок березы;
А у овцы же блещут слезы.
Ручей, играя пеной, лед,
И в чашу голубь полетел.
Здесь только стадо пронеслось
Свистящих шумно диких уток,
И ветвью рог качает лось,
Печален, сумрачен и чуток.
Исчезли труд, исчезло дело:
Пчела рабочая гудела
И на земле и в вышине.
Творилась слава тишине.
Овца задумчиво вздыхает
И комара не замечает.
Комар, как мак, побагровел
И звонко с песней улетел.
Качая черной паутиной
На землю падающих кос,
Качала Вила хворостиной
От мошек, мушек и стрекоз.
Лег дикий посох мимо ног;

На ней от воздуха одежда;
Листов березовых венков
Ее опора и надежда.
Ах, юность, юность! ты что дым!
Беда быть тучным и седым!
Уж леший капли пота льет
С счастливой круглой головы.
Она рассеянно плетет
Венки синеющей травы.
«Тысячелетние громады
Морщиной частою измучены.
Ты вынул меня из прохлады,
И крылышки сетью закручены
Леший добрый, слышишь, что там?
Натиск чей к чужим высотам?
Там, на речке, за болотом?»
Кругом теснилась мелюзга,
Горя мерцанием двух крыл,
И ветер вечером закрыл
Долину, зори и дуга.
«Хоть сколько-нибудь нравится
Тебе моя коса?» —
«Конечно, ты красавица,
То помнят небеса,
Ты приютила голубков,
Косою черная с боков!»
А над головой ее летал,
Кружился, реял, трепетал
Поток синеющих стрекоз.
Где нет ее, там есть мороз,
Младую Вилу окружал
И ей в сияньи услужал.
Вокруг кудравы дресса,

Сини, могучи небеса.
Младенец с пышною косою
Стоял в дубраве золотой,
Живую жизнь созерцал
И сердцу милым нарицал.
«Спи, голубчик, спи, малюта,
В роше мира и уюта».
Рукой за рог шевелит нежно,
Так повторив урок прилежно,
На небо смотрит. Невзначай
На щеку каплет молочай.
Рукою треплет белый чуб,
Его священную чуприну.
«Чуть-чуть ты стар, немного глуц,
Но все же брат лугам и крину».
Но от темени до пят
Висит воздушная ограда,
Синий лен сплести хотят
Стрекоз реющее стадо.
«Много, много мухоморов,
Есть в дубраве сухостой,
Но нет люда быстрых взоров,
Только сумрак золотой.
Где гордый смех и где права?
Давно у всех душа сова?»
На мху и хвое леший дремлет;
Главу рукой, урча, объемлет.
Как мотылек восток порхал
И листья дуба колыхал.
Военный проходит
С орлом на погоне;
И взоров не сводит
Природа в загоне.

Она встает, она идет,
Где речки слышен зов — туда,
Где мышь по лону вод плывет
И где задумчива вода.

ГОЛОС С РЕКИ

Я белорукая,
Я белокожая,
Ручьям аужая,
На шум похожая,
О землю стужая,
Досуг тревожу я.

«Кто там бедная поет?
Злую волю кто кует?»
В тени лесов, тени прохладной
Стоял угрюмый и злорадный
Рыбак. Хохол волос упал со лба,
Вблизи у лоз его судьба.
Точно грешник виноватый,
Боязливый, вороватый,
Дикий, стройный, беспокойный,
Здесь рыбак пронес уду,
Верен вольному труду.
Неслась веселая вода.
Постой, разбойница, куда?
«Где печали,
Где качели,
Где играли
Мы вдвоем?
Верещали
Из ущелий
Птицы. Бился водоем»,

Ковдоногих сторожей
Этой роши, этих стад,
Без копы и без ножей
Распря видеть умный рад.
Пусть подьмлют черти руку,
Возглашая, что доводно!
Веселясь лбов крепких стуку,
Веселюсь и я невольно.
Страсть, ты первая посылка,
Чтоб челом сразиться пылко.
Над лысой старостью глумится
Волшебнookая девида.
Хребтом прекрасная сидит,
Огнем воздушных глаз трепещет,
Поет, смеется и шалит,
Зарницей глаз прекрасных блещет
И сыплет сверху муравьев.
Они звончее соловьев
На ноги спящего поставят
И страшным гневом позабавят.
Как он дик и как он согнут,
Веткой длинною дрожа,
Как персты его не дрогнут,
Палкой длинною ворожа.
Как дик и свеж
Владыка мреж!
«Я, в сеть серебряных ячеек
Попавши, сомом завоплю,
В хвосте есть к рыбам перещеек,
Им оплеуху налеплю».
Рукою ловит комаров
И садит спящему на брови:
«Ты весел, нежен и здоров,

Тебе не жалко капли крови.
Дубам столетним ты ровесник,
Но ты рогат, но ты кудесник».
Подобно шелка черным сетам,
С чела спускалася коса.
В нее, летя к голодным детям,
Попалась желтая оса.
Осы боюсь. Осу поймала;
Та изогнуда стан дугой
И в ухо беса, что дремало,
Вонзился хвост осы тугой.
Ручную садит пчелку
В его седую холку.
Он покраснел, чуть-чуть рассержен,
И покраснел заметно он.
Но промолчал: он был воздержан
И не захотел нарушить сон.
«Как ты осклиз, как ты опух,
Но все же витязь верный, рьяный.
Капусту заячья, лопух!
Козел всегда собою пьяный!»
Устало, взорами небесная,
Дышала трудно, но прелестная.
Сверчки свистели и трещали
И прелесть жизни обещали.
Досуг лукавством нежным теши
И волос ногтем длинным чешет.
И на плечо ее прилег
Искавший отдых мотылек.
Но от головы до самых ног
Скует стрекозвых крыл станок.
Там небеса стоят зеленые,
Какой-то тайной утомленные.

Но что? Ква, ква! лягушка пела, пасть ужа.
Уже бледна вскочила Вила, вся дрожа.
И внемлет жалобному звуку,
Подъема к небу свою руку.
Коса волной легла вдоль груди,
Где жило двое облаков,
Для восхищенных взоров судей,
Для взоров пылких знатоков!
О, этот бледный страха крик!
Подъемлет голову старик.
«Не все же видно лес да ели;
Мы, видно, крепко надоели.
Ты дюже скверная особа».
(Им овладели гнев и злоба.)
«Души упряма нету вздорней!
Смотри, смотри! Смотри проворней!
Мы капли жизни бережем,
Она же съедена ужом».
Там жаба тихо умирает
И ею уж овладевает.
Блестя, как рыбки из корзинки,
По щекам падали слезинки.
Он телом стар, но духом пылок,
Как самовар блестит затылок.
Он гол и наг: ветки колосья
Мехов упавших на бедро,
Склонились серые волосья
На лоб и древнее челю.
Его власы из снега льны,
Хоть мышцы серы и сильны.
«Мой товарищ желтоокий!
Посмотри на мир широкий.
Ты весной струей из скважины

Жадно пьешь березы сок,
Ты и дерзок и отважен,
Телом спрятан у осок.
И грозя согнутым рогом,
Сладко гредишь о немногом».
Исполнен неясных овечьих огней,
Он зенками синими водит по ней.
И просит грустящий, глазами скользя;
Но Вила промолвила тихо: «нельзя!»
И машет строго головой,
Тот вновь простерт стал, чуть живой.
Рога в сырой мох погрузил
И плача звуком мир пронзил.
Вблизи цветка качалась чашка;
С червем во рту сидела пташка.
Жужжал угрозой синий шмель,
Летя за взяткой в дикий хмель.
Осока наклонила ось,
Стоял за ней горбатый лось.
Кричал мураш внутри росянки,
И неся свист златой овсянки.
Ручей про море звонко пел,
А леший снова захрапел!
В меха овечьи сел слепень,
Забывши свой сосновый пень.
Мозоль косматую копытца
Скрывала травка медуница.
И вечер шел. Но что ж: из пара
Встает таинственная пара.
Воздушный аист грудью снежной,
Костяк вершины был лишен,
И помогая выйти нежно,
Достоин жалости, смешон,

Он шею белую вперил
На небо, тучами покрыто,
И дверь могилы otvorил
Своей невесте того быта.
Лучами солнце не пекло;
Они стоят на мокрых плитах.
И что же? светское стекло
Стояло в черепа на нитях.
Но скоро их уносит мгла,
Земная кружится игла.
Но долго что-то черепа
Стучали в мраке, как цепа.
А Вила злак сухой сломила,
С краев проворно заострила
И в нос косматому ввела
И кротко взоры подняла.
Рукой по косам провела.
О чем-то слезы пролила
И, сев на пень взамену стула,
Она заплакала, всхлинула.
И вдруг (о радость) слышит: чих!
То старый бешено чихнул,
Изгнать соломинку вздрогнул.
«Мне гнев ужасен лешачих.
Они сейчас меня застанут,
Завоют, схватят и рванут,
И все мечты о лучшем канут,
И речи тихие уснут.
Покрыты волосом до пят,
Все вместе сразу завоят.
Начнут кусаться и царапать
И снимут с кожи белый лапоть.
Союз друзей враждой не понят,

На всех глаголах ссор зазвонят
И хворостиною погонят
Иль на веревке поведут.
Мне чья-то поступь уж слышна». —
Ах, жизнь сурова и страшна.
«Смотри, сейчас сюда нагрянут,
Пощечин звонких нададут.
Грызния начнется и возня.
Иди, иди же, размазня». —
Себя обвив концом веревки,
Меж тем брюшко сребристо лысое
Ему давало сходство с крысою,
Ушел, кряхтя, в места ночевки.
Печально в чаще исчезал,
Куда идти, он сам не знал.
Он в чашу плешину засунул
И, оглянувшись, звонко плюнул.
«Га! Еще побьют,
Достоин жалости бедняга!
Пускай он туп,
Пускай он скряга!
Мне надо много денег!» —
«А розог веник?» —
«Ожерелье в сорок тысяч
Я хочу себе достать». —
«Лучше высежь...
Лучше больше не мечтать». —
«И медведя на цепочке...
Я мукой посыплю щечки.
Будут взоры удлинненными,
Очи больше современными.
Я достану котелок
На кудрей моих венюк.

Рот покрасив медведжетом,
Я поссорюсь с целым светом,
И дикарскую стрелу
Я на щечке начерчу.
Вызывая рев и гнев,
Стану жить я точно лев.
Сяду я, услыша ропот,
И раздастся общий шопот». —
«То-то, на той сушине растет розга». —
«Иди, иди, ни капли мозга!» —
«Иду, иду в мое болото.
Трава сыра». — «Давно пора!»
Досады полная вконец,
Куда ушел тот сорванец?
Бросала колкие насмешки,
Сухие листья, сыроежки,
Грибы съедобные и ветки
И ядовитые заметки.
Легела нитка снежных четок
Вслед табуну лесных чечеток.
С сосновой шишкой, дар зайчишки,
Сухая крышка мухомора
Летит, как довод разговора.
Слоны, удитки-слизняки,
И веткой длинной сквозняки,
А с ними вместе города
Летят на воздух все туда.
Она всё делалась сердитей
И говорила: «Погодите.
О ты, прижимающий ухо косое,
Мой заяц, ответь мне, какого ты соя?»
Как распалившийся ребенок,
Покинут нянькой нерадивой,

Бесился в ней бесенок,
Покрытый пламенной гривой.
К ручейной влаге наклонясь,
Себя спросила звонко «ась?»
И личиком печальным чванится
Стран лицемерия изгнанница.
Она пошла, она запела
Грозно, воинственно, звонко,
И над головою пролетела
В огне небес сизоворонка.
Кругом озера и приволье,
С корой березовой дреколье,
Поля, пространство и леса
И голубые небеса.
Вела узорная тропа;
На частоколе черепа.
И рядом низкая лачуга,
Приют злодеев и досуга.
Овчарка встала, заворчав,
Косматый сторож величав.
Звонков задумчивых бречанье,
Овчарки сонное ворчанье.
Повсюду дятлы и синицы
И белоструйные криницы.
Слышу запах человечесий?
Где он дикий? мех овечий.
Вид прекрасный, вид пригожий,
Шея белая легка,
Рядом с нею, у подножий,
Два трепещут мотылька.
И много слов их ждет прошептанных,
И много троп ведет протоптанных.

ХАДЖИ-ТАРХАН

Где Волга принула стрелою
На хохот моря молодого,
Гора Богдо своей чертою
Темнеет взору рыболова.
Слово песни кочевое
Слуху путника расскажет:
Был уронен холм живой,
Уронил его святой, —
Холм, один пронзивший пажить!
А имя, что носит святой,
Давно уже краем забыто.
Высокий и синий, боками крутой,
Приют соколиного мыта!
Стоит он, синее травой,
Над прадедов славой курган,
И подвиг его и доньяе живой
Пропел кочевник-мальчуган.
И псов голодающих вторит ей вой.
Как скатерть желтая, был гол
От бури синей сирый край.
По ней верблюд, качаясь, шел
И стрепетов пожары стай.
Стоит верблюд сугул и длинен,
Космат, с чернеющим хохлом.
Здесь люда нет; здесь край пустынен,

Трепещут ястребы крылом,
Темнеет степь; вдали хурул
Чернеет темной своей кровлей,
И город спит, и мир заснул,
Устав разгулом и торговлей.
Как веет миром и изычеством
От этих дремлющих степей.
Божеств морских могил величеством
Будь пьяным, путник, пой и пей.
Табуи скакал, лелея гривы,
Его жокак шел впереди.
Летит как чайка на заливы,
Волнуя снежные извивы,
Уж исчезающий вдали.
Ах, вечный спор горы и Магомета,
Кто свят, кто чище и кто лучше.
На чем челе коран завета,
Чьи брови гневны точно тучи.
Гора молчит, лаская тишь,
Там только голубь сонный неся.
Отсель урок: ты сам слетишь,
Желая сдвинуть сон утеса.
Но звук печально горловой,
Рождая ужас и покой,
Несется с каждою зарей
Как знак: здесь отдых; путник, стой!
И на голубые минареты
Присядет стриж с землей на лапах,
А с ним любви к иным советы
И восковых курений запах.
И столбы с целом цветочным Рима
В пустыне были бы красивы.
Но редкой радугой любима

Она в песке хоронит нвы.
Другую жизнь узнал тот угол,
Где смотрит Африкой Россия.
Изгиб бровей людей где кругол,
А отблеск лиц и чист и смугол,
Где дышит в башнях Ассирия.
Мила, мила нам Пугачевщина,
Казак с сергой и темным ухом.
Она знакома нам по слухам.
Тогда воинственно ножевщина
Боролась с немцем и треухом.
Ты видишь город стройный, белый,
И вид приволжского кремля?
Там кровью полита земля,
Там старец брошен престарелый,
Набату страшному внемля.
Уже не реют кумачи
Над синей влагою гусей.
Про смерть и гибель трубачи,
Они умчались от людей.
И Волги бег забыл привычку
Носить разбойников суда,
Священный клич «сарынь на кичгу»
Здесь не услышат никогда.
Но вновь и вновь зеленый вал,
Старинной жаждой моря выпит,
Кольцом осоки закрывал
Рукав реки — морской Египет.
В святых дубравах Прометея
Седые смотряся олени.
В зеркалах моря сиротей,
С селедкой плавают тюлени,
Сквозь русских в Индию, в окно

Возили ружья и зерно
Купца суда. Теперь их нет.
А внуку враг и божий свет.
Лик его помню суровый и бритый,
Стада ладей пастуха.
Умер уж он; его скрыли уж плиты,
Итоги из камня и грез и греха.
Помню я свет отсыревшей божницы:
Там жабы печально резвились!
И надпись столетий в камней плащанице!
Смущенный, наружу я вышел и вылез,
А ласточки бешено в воздухе вились
У усыпальницы предков гробницы.
Чалмы зеленые толпой
Здесь бродят в праздник мусульман,
Чтоб предсказал клинок скупой
Коней отмщенья водоюй
И мечь гяуру (радость ран).
Казани страж — игла Сумбеки,
Там лились слез и крови реки.
Там голубь, теменем курчав,
Своих друзей опередил
И падал на землю стремглав,
Полет на облаке чертил.
И, отражен спокойным тазом,
Давал ума досугу разум.
Мечеть и храм несет низина
И видит скорбь в уделе нашем,
Красив и дик зов муэдзина,
Зовет народы к новым кашам.
С бульжником там белена
На площади ясной дружила,
И башнями стройно стена

И город и холм окружила.
И туча стрел неслась не раз.
Невест восстание было раз.
Чу! слышен плач, и стан княжны
На руках гнется лиходея.
Соседи радостью полны,
И под водою блещет шея.
И помнит точно летописец
Сии труды на радость злобы.
И гибель многих вольных тысяч
И быстро скованные гробы.
Настала красная пора
В низовьях мчащегося Ра.
Война и меч, вы часто только мяч
Лаптою занятых морей,
И волжская воля, ты отрок удач,
Бросая на север мяч гнева полей.
Нас переженят на немках, клянусь!
Восток надел венки из зарев,
За честь свою восстала Русь,
И, тройку рек копьем удара,
Стоял соперник государя.
Заметим кратко: Ломоносов
Был послан морем Ледовитым,
Спасти рожден великороссов,
Быть родом разумом забытым.
Но что ж! забыв его венки,
Кричим гурьбой: падам до ног.
И в звуках имени Хвальнскогого
Живет до ныне смерть Волянскогого,
И скорбь безглавых похорон
Таится в песне тех сторон.
Ты видишь стень: скрипит телега,

Песня лебеди слышна,
И живая смерть Олега
Вещей юности страшна.
С косою двойною бог скота,
Кого стада вскормили травы,
Стоит печально. Всё тщета!
Куда ушли столетья славы?
Будь неподвижною севера ось,
Как остов небесного судна.
В бурю родились, плывем на-авось,
Смотрим загадочно, грозно и чудно.
И светел нам лик в небе брошенных писем,
Любим мы ужас, вой смерча и грех.
Как знамя мы молодость в бурю возвысим,
Рукой огневою начертим мы смех.
Ах, мусульмане те же русские,
И русским может быть Ислам.
Милы глаза, немного узкие,
Как чуть открытый ставень рам.
Что делать мне, мой грешный рот?
Уж вы не те, уж я не тот!
Казак сдувал с меча пылинку,
На лезвие меча дыша.
И на убогую былинку
Молилась Индии душа.
Когда осаждался тот город рекой,
Он с нею боролся мешками с мукой.
Запятав в брови взоры синие,
Исполнен спеси и уныния,
Верблюду угрюму, неразговорчив
Стоит, насмешкой губы скорчив.
И как пустые рукавицы
Хохлы горба его свисают,

С деньгой серебряной девица
Его за повод потрясает.
Как много просьб к друзьям встревоженным
В глазах торгующих мороженым!
Прекрасен в рубищах их вырез.
Но здесь когда-то был Озирис.
Тот город, он море стерег!
И впрямь, он был моря столицей.
На Ассирию башен намек
Околицы с сельской станицей.
И к белым и ясным ночным облакам
Высокий и белый возносится храм
С качнувшейся чуть колокольней.
Он звал быть земное довольней.
В стволах садов, где зреет лох,
Слова любви скрывает мох.
Над одинокою гусяной
Широкий парус, трепеща,
Наполнен свежее моряной,
Везет груз воблы и леща.
Водой тот город окружен,
И в нем имеют общих жей.

[1913]

НЕВОЛЬНИЧИЙ БЕРЕГ

Невольничий берег,
Продажа рабов
Из теплых морей,
Таких синих, что болят глаза, надолго
Перешел в новое место,
В быдую столицу белых царей,
Под кружевом белым
Вьюги, такой белой,
Как нож, сослепа воткнутый кем-то в глаза.
Зычно продавались рабы
Полей России.
«Белая кожа! Белая кожа!
Белый бык!» —
Кричали торговцы.
И в каждую хату, проворнее вора,
Был воткнут клинок
Набора...
Пришли. Смотрят глупо, как овцы,
Бьют и колотят множеством ног.
А ведь каждый у маменьки где-то, какой-то,
Любимый, дражайший сынок.
Матери России, седые матери,
Войте!
Продаватели

Смотрят им в зубы,
Меряют грудь,
Щупают мышцы
Тугую икру.
«Повернись, друг!» —
Врачебный смотр.
Хлопают по плечу:
«Хороший, добрый скот!»
Бодро пойдет на «уру»!
Стадом волов
Пойдет напролом,
Множеством пьяных голов
Сомнет и снесет на плечах
Колья колючей изгороди
И железным колом,
Сразмаха чужой
Натыкая живот,
Будет работать,
Как дикий скот
Буйным рогом.
Шагайте с богом! —
Прощальное баево.
Видишь: ясные глаза его
Смотрят с белых знамен.
Тот, кому вы верите...
«Бегаёт, как жеребец. Рысь! Сила!
Что, в деревне, чай, осталась кобыла?
Экая силища! Какая сила!
Ну, наклонись!»
Он стоит на холодине наг,
Раб белый и голый.
Деревня!
В одежды визга рядись!

Ветер плачевный
Гонит снега стада
На молодые года.
Гонит стада
Сельского хама рот
За море.
Кулек за кульком
Стадо за стадом брошены на палубу,
Сверху на палубы строгих пароходов
Мясо, не знающее жалости,
Не знающее жалобы,
Бросает рука
Мировой наживы,
Игривее шалости.
Страшна обессынена!
А вернется оттуда
Человеческий лом, зашагают обрубки,
Где-то по дороге, там на чужбине,
Забывшие свои руки и ноги.
(Бульба больше любил свое курево
в трубке!)
Иль поездами смутных слепцов
Быстро прикатит в хаты отцов.
Вот тебе и раз!
Ехал за море
С глазами, были глаза, а вернулся назад
без глаз!
А он был женихом.
Выделка русской овчинки.
Отдано русское тело пушкам —
В починку! Хорошая починка!..
В уши бар белоснежные попал
Первый гневный хама рев:

«Будя!»
Русское мясо! Русское мясо!
На вывоз! Чудища морские, скорее!
А над всем реют
На знаменах
Темные очи Спаса
Над лавками русского мяса.
Соломорезка войны
Железной решеткою
Втягивает
Всё свежие
И свежие колосья
С зернами слез Великороссии.
Гнев подымался в раскатах:
Не прячьтесь. Не прячьтесь!
Те, кому на самокатах
Кататься дадено
В стеклянных шатрах,
Слушайте вой
Человеческой говядины
Убойного и голубого скота.
«Где мои сыны? —
Несется в окно вой. —
Сыны!
Где вы удобрили
Пажитей прах?
Ноги это, ребра ли висят на кустах?»
Старая мать трясет головой.
Соломорезка войны
Сельскую Русь
Втягивает в жабры.
«Трусь. Беги с полей в хаты!» —
Кричит умирающий храбрый.

Через стекло самоката
В уши богатым седокам самоката,
Недотрогам войны,
Несется в окно вой
Из горбатой, мохнатой хаты.
Русского мяса
Вывоз куй!
Стала Россия
Огромной вывеской,
И на нее
Жирный палец простерт
Мирового рубля.
«Более, более
Орд
В окопы Польши,
В горы Галиции!»
Струганок войны стругает, скобля,
Русское мясо,
Порхая в столице
Множеством стружек.
Мертвые люди!
Пароходы-чудовища
С мерзлыми трупями
Море роют шурупам,
Воют у пристани,
Ждут очереди.
Нету сынов!
Нету отцов!
Взгляд дочери дикий
Смотрит и видит
Безглазый, безустый мешок
С белым оскалом
В знакомом тулупе.

Он был родимым отцом!..
В далекой халуе
Смрадно дышит,
Хрипит: «Хлебушка, дочка!»
Обвиняю!
Темные очи Спаса
Белых священных знамен,
Что вы трепыхались
Над лавками русского мяса
Молча,
И не было упрека и желчи
В ясных божественных взорах,
Смотревших оттуда!
А ведь сколько мученья,
Сколько людей изувечено!
И слугою войны — порохом —
Подано столько печенья
Из человечины
Пушкам чугунным.
Это же пушек пирожного сливки.
Сливки пирожного,
Если на сучьях мяса обрывки
Руки порожние
Дали...
Сельская голь стерегла свои норы,
Пушки-обжоры
Саженою глоткой
Бездонною бочкой
Глодали,
Чавкая,
Зубы выломать.
Глухо выла мать:
«Нету сыну-то, —

Есть обрубок» —
И целует обрубок...
Колосья синих глаз,
Колосья черных глаз,
Гнет, рубит, режет
Соломорезка войны.
То, что им подано
Мяса русского лавкой.
Стадом чугунных свиней,
Чугунными свиньями жрали нас —
Эти ядер выше травы скачки,
Эти чугунные выскочки.
Сластены войны
Хрустели костями,
Жрали и жрали нас, белые кости,
Стадом чугунных свиней.
А вдали свинопас,
Пастух черного стада свиней,
Небо синест, тоже пьянея.
Всадник на коне едет.
Мы
Были жратвой чугуна,
Жратвою, — жратва!..
И вдруг «же» завизжало,
Хрюкнуло, и над нею братва, как
шершнево жало,
Занесла высоко
Кол
Огромной свободы.
Это к горлу «же»
«Бэ»
Приставило нож, моря тесак,
Хрюкает «же» и бежит, как рысак.

Хрюкнуло «же», убежало...
Слово «братва», цепи снимая
Работогровли,
Полетело, как колокол,
Воробьем с зажженным хвостом
В гнилые, в соломенные кровли.
Свободы пожар. Пожар. Набат.
— Брат!..

11917]

НОЧЬ В ОКОПЕ

Семейство каменных пустынных
Просторы поля сторожило.
В окопе бывший пехотинец
Ругался сам с собой: «Могила!
Объявилась эта тетя,
Завтра мертвых не сочтете,
Всех задушит понемножку.
Ну, сверну собачью ножку!»
Когда-нибудь Большой Медведицы
Сойдет с полей ее пехота.
Теперь лениво время щедится,
И даже думать неохота.
«Что задумался, отец?
Али больше не боец?
Дай, затащим полковую,
А затем — на боковую!»
Над мерным храпом табуна
И звуки шорохов минуя,
Международника могучая волна
Степь объяла ночную;
Здесь клялась небу навсегда,
Росою степь была напоена,
И ало красная звезда
Околош украшала война.
«Кто был ничем,

Тот будет всем.
Кто победит в военном споре?
Недаром тот грозил углом,
Московской брови всем довольным,
А этот рвался напролом
К московским колокольням.
Не два копы в руке морей,
Протянутых из севера и юга,
Они боролись: раб царей
И он, в ком труд увидел друга.
Он начертал в саду невест,
На стенах Красного Страстного:
«Ленивый да не ест.
Труд свят и зверолова».
Молитве верных чернышей
Из храма ветхого изгнав,
Сюда войны учить устав
Созвал любимых латышей.
Но он суровою рукой
Держал железного пути.
Нет, я — не он, я — не такой!
Но человечество — лети!
Лицо Сибирского Востока,
Громадный лоб, измученный заботой,
И, испытуй, вас пронзающее око,
О хате жалится охотою.
Она одна, стезя железная!
Долой, беседа бесполезная,
Настанет срок и за царем,
И я уйду в страну теней.
Тогда беседе час. Умрем
И все увидим, став умней.
Когда врачами суеверий

Мои послы во тьме пещеры
Вскрывали ножницами мощи
И подымали над топкой
Перчатку женскую, жилицу
Искусно сделанных мощей, —
Он умер, чудотворец тощий,
Но эта женская перчатка
Была расстрелом суеверий.
И пусть конина продается,
И пусть насмешливо смеется
С досок московских переулков
Кривая конская головка, —
Клянусь кониной, мне сдается,
Что я не мышь, а мышеловка.
Клянуса ею, ты свидетель,
Что будет сорванною с петель,
И поперек желанья бога,
Застава к алому чертогу,
Куда уж я поставил ногу.
Я так скажу — пусть будет глупо
Оно глупцам и дуракам,
Но пусть земля покорней трупам
Моим доверится рукам.
И знамена, алей коня,
Когда с него содрали кожу,
Когтями старое казнь,
Летите, на орлов похожи!
Я род людей сложу, как части
Давно задуманного целого.
Рать алая! твоя игра! Нечисты масти
У вымирающего белого.
Цветы нужны, чтоб скрасить гробы,
А гроб напомнит: мы — цветы..

Недолговечны, как они.
Когда ты просишь подымать
Поближе к небу звездочета,
Или когда, как божья мать,
Хоронишь сына от учета.
Когда кочевники прибыли,
Чтоб защищать твои знамена,
Или когда звездою гибели
Грядешь в народ одноплеменный, —
Москва, богиней воли подымая
Над миром светоч золотой,
Русалкой крови орошая
Багрянцем сломанный устой,
— Ты где права? Ты где жива?
Скрывают платя кружева.
Когда чернеющим глаголем
Ты встала у стены,
Когда сплошным Девичьим Полем
Повязка на рубце войны.
В багровых струях лицо монгольского
востока,

Славянскою волнуясь чертой,
Стоит могуче и жестоко,
Как образ новый, время, твой!
Проклятый бред! Молчат окопы,
А звезды блещут и горят...
Что будет завтра — бой? — Наверяд.
Курган языческой Рогнеде
Хранил девические кости,
Качал ковыль седые ости,
И ты, чудовище из меди,
Одетое в железный панцырь.
На холмах алые кубанцы.

Подобное часам, на брюхе бронзой
Оно ползло, топча живое!
Ползло, как ящер до потолка,
Вдоль нити красного окопа.
Деревья падали на слом,
Заставы для него пустое.
И такал звонкий пулемет,
Чугунный выставив живот.
Казалось,
Над муравейником окопа
Сидел на короточках медведь,
Неодолимый, точно медь,
Громадной лапою тревожа
И право храбрых — смерти ложе!
И стоны слабых: боже, боже!
Опять брони блеснул хребет,
И вновь пустыня точно встарь.
Но служит верный пулемет
Обедню смерти, как звонарь.
Друзьями верными несомая,
По степи конница летела.
Как гости, как старинные знакомые,
Входили копыя в крикнувшее тело.
А конь скакал...
Как желт зубов оскал!
И долго медь с распятым спасом
Цепочкой била мертвеца.
И как дубина: «бей по мордасам!»
Летит от белого конца.
Трепещет рана вся в огне,
Путь пули — через богородиц.
На золотистом скакуне
Проехал полководец.

Его унесит иноходец.
За сторожевым военным валом
Таилась конница врагов:
«Журавель, журавушка, жур, жур,
жур...» —

Оттоль неслоь на утренней заре.
И доски каменные дур,
Тоска о кобзаре,
О строе колеса и палок,
Семействе скалочных русалок.
Но чу? «Два аршина керенки
Брошу черноглазой,
Нож засуну в черенок,
Поскачу я сразу.
То пожаром, то разбоем,
Мы шагаем по земле.
Черемуху воткнув в винтовку,
Целуем милую плутовку.
Мы себе могилу роем
В серебристом ковчеге».
Так чей-то голос пел.
Ворчал старик: «Им мало дедовой
судьбы!»

Ну что ж, заслужите, пожалуй, —
Отды расскажут, так бывало, —
Себе сосновые гробы,
А лучше бы садить бобы
Иль новый сруб срубить избы,
Сажать капусту или рожь,
Чем эти копы или нож».
Из Чартомлыцкого кургана,
Созавши в поле табуны,
Они летят, сыны обмана,

И с гривой волосы сметаю,
И длинным древком потрясая,
Немилых пашками секут,
И вдруг — все в сторону бегут,
Старинным криком оглашая
Просторы бесконечных трав.
С звериным воем едет лава.
Одни вскочили на хребты
И стоя борются с врагом,
А те за конские хвосты
Рукой держались бегом.
Оставив ноги в стремях,
Лицом волочатся в траве,
И вдруг, чтоб удаль вспоминать,
Опять падают на копе,
Иль ловят раненых на руки.
И волчьей стаи шорохи и звуки,
Как ветка старая сосны,
Гнездо суровое несет,
Так снег Москвы в огне весны
Морскою влагою умрет.
И если слезы в тебе льются,
В тебе, о старая Москва,
Они когда-нибудь проснутся
В далеком море, как волна.
Но море Черное, страдая,
К седой жемчужине Валдая,
Упорно тянется к Москве.
И копы длинные стучат,
И голоса морей звучат.
Они звучат в колосьях ржи,
И в свисте отдаленной пули,
И в час, когда блеснут ножи.

Морские волны обманули,
Свой продолжая рев валов,
Седы, как чайка-рыболов,
Неузнаваемы никем,
Надели человечий шлем.
Из белокурых дикарей
И их толпы, всегда невинной,
Сквозит всегда вражда морей
И моря белые лавины.
Чтоб путник знал о старожиле,
Три девы степи сторожили,
Как жрицы радостной пустыни,
Но руки каменной богини
Держали ног суровый камень.
Они зернистыми руками
К ногам суровым опускались,
И плоско мертвыми глазами
Былых таинственных свиданий
Смотрели каменные бабы.
Смотрело
Каменное тело
На человеческое дело.
«Где тетива волос девичьих,
И гибкий лук в рост человека,
И стрелы длинные на перьях птичьих,
И девы бурные моего века?» —
Спросили каменной богини
Едва шептавшие уста.
И черный змей, завит в кольцо,
Шипел неведомо кому.
Тупо животное лицо
Степной богини. Почему
Бейцов суровые ладони

Хватают мертвых за виски,
И алоратные полки
Летят веселием погони?
Скажи, суровый известняк,
На смену кто войне придет?
— Сыпняк.

[1919?]

ЛЕСНАЯ ТОСКА

ВИЛА

Пали вои полевые
На речную тишину,
Полевая в поле вою,
Полевую пою волю,
Умоляю и молю так
Волшебство ночной поры,
Мышек ласковых малюток,
Ращи вещице миры —
Позови меня лесную,
Над водой тебе блесну я,
Из травы сниму копытце,
Зажгу в косах небеса я,
И могучая, босая
Побегу к реке купаться.

ЛЕШАК

Твои губы — брови тетерева,
Твои косы — полночь падает,
О тебе все лето реву,
Но ничто, ничто не радует.
Светлых рыбок вместо денег,
Ты возьмешь с речного дна,

В острых зубках, как варенье
Вдруг исчезнула одна.
Без сметаны она вкусна,
Хрустно бьется на зубах.

ВЕТЕР

На стене сырой, где клятва,
Я слезами стены вымою,
Где ручьями сырость капает,
Над призраком из сырости,
Словам любви, любимая,
Тогда ужель не вырасти —
Булавка нацарапает.

РУСАЛКА

Ты, это ветер, ты?
Верю, ветер, любит не в чем,
Грустить неучем,
После неть путь
Моих ветреных утренних пят,
Давать им лапти легких песен,
А песен опасен лег.
Мой мальчик шаловливый и мятежный,
Твои таинственные нити
Люблю ловить рукою нежной,
Ковры обманчивых событий.
Что скажешь ты?

ВЕТЕР

На обрыве, где гвоздика,
Возле лодки, возле весел,
Где косматому холопу

Стражу вверила халуца,
Парень неводом частым отрезал,
Вырезав жезел,
Русалке беглянке пути.
Как билась русалка, страдая!
Сутки бьется она в сетке,
Где течения излом,
Вместе с славкой ястребиной,
Желтоокой и рябой.
Рыбак, — он силой чар ужасных
Богиню в невод изловил,
И на руках ее прекрасных
Веревки грубой узлы вил.

ВИЛА

Беру в свидетели потомство
И отдаленную звезду,
С злодеем порвано знакомство,
На помощь девушке бегу.

ВЕТЕР

Что же, волосы развеяв,
По дороге чародеев
Побеги меж темных елей.
Ах, вила, вила!
Ты простодушьем удивила
Меня, присяжного лгуна,
Не думал я, что сразу
Поверишь ты рассказу.
Разве есть тебя резвей
В сердце простодушном,
Каждой выдумке послушной.

РУСАЛКА

Зачем ты обманул?

ВЕТЕР

А без проказ совсем уснул,
И злые шалости — моя свобода.

СТАРИК

Как черный ветер, колыхается
Из красных углей ожерелье.
Она поет и усмехается,
Костер ночной ее веселье.
Она поет, идет и грезит,
Стан мошек волосом разит.
Как луч по хвойным веткам лезет
И тихо к месяцу скользит.
То в сумраке себя ночном купает,
То в облаке ночном исчезла,
То молчаливо выступает
В дыму малинового жезла.
Она то молнией нагой
Блеснет одна в дуброве черной,
То белодымною ногой
Творит обряд упорный.

РУСАЛКА

Всюду тени те,
Меня тините!
Только помните
Здесь пути не те,
Здесь потонете!

Жмурился вечер,
Жмурия большие глаза,
Спрячась в озерах во сне голубых,
Тогда я держала в руках голубей,
Сидя на ветке шершавой и старой.
И опрокинутой глыбой
Косы веселий
Висели.
В осине осенней
То было.

Час досады, час досуга,
Час видений и ведуний,
Час пустыни, час пестуний.
Чтоб пышной, длинной и далее
Золотые косы дали ей.
Вы греховны тем, что нынче
Обещались птицы звонче.
Полотенцем моей грезы
Ветру вытру его слезы.
Ветер ветренный изменник,
Не венюк ему, а венюк.
Вы помните, страстничал вечер
Громадами томных,
Расширенных глаз над озером.

ВЕТЕР

Там не та темнота.
Вы ломите мошек стада,
Вы ива своего стыда,
Где мошек толкутся стада.
Теперь выхода из воды,
Вы ива из золота —
Вы золота ива

Чаруетесь теми,
Они сосне
Восклидали: сосни!
Чураетесь теми,
Она во сне
Заклинала весну.
Ясен овен темноты.
Я виновен, да, но ты?
Вы ива у озера,
Чьи листья из золота.

РУСАЛКА

Лени друг и враг труда,
Ты поклялся, верю чуду,
Что умчимся в никогда,
И за бедами забуду,
Что изменчив как вода.

РЫБАКИ

Вышел в сети — мать владычица!
Что-то в сетях туго тычется.
Изловили ли сома,
Да таких здесь не видеть!
Или снятил и с ума!
А глаза уж смотрят слабо.
Вышел парень:
Водяная бьется баба!
И куда со мной бегом,
Развязаться бы с грехом.

ВЕТЕР

Чары белые лелею,
Опрокинутые ивами.

Одоленом одолею
Непокорство шаловливое.
Голубой волны жилицы,
Купайтесь по ночам,
Кудри сонные струятся
Крученым паньчом.
Озаренные сияньем,
Блещут белым одеяньем
По реке холодной беженки,
На воде холодной неженки.
Я веселый, я за вами,
Чтоб столкнуть вас головами.

РУСАЛКА

Слышишь, ветер, слышишь ужас?
Ветра басня стала делом.
В диких сетях обнаружась,
Бьется вила нежным телом.
Режут листья как мечи
Кожу неги и услад,
Водяной бугай, мычи,
Жабы, вам забить в набат!
Пышных кос ее струи,
По хребту бежит снег.
И натянутые клетки,
Точно тени зимней ветки,
Сот тугой и длинной сетки —
Режут до крови рубцы.
И на теле покрасневшем
Отпечатана до мяса
Сеть вторая на руках,
Точно тени на снегу
Наклоненных низко веток.

И запутанная в соты,
Дичь прекрасная охоты
Уж в неволе больше часа,
Раскраснелась и в слезах,
Слезы блещут на глазах,
Дрожат невода концы.
Холить брось свои усы,
Злой мальчишка и пророк,
Это злой игре урок.
Вила лесным одуванчиком
Спускалась ночью с сосны,
Басне поверив обманщика,
Пленница сеток, не зная вины,
Ну, берись, скорей за помощь,
Шевелись, речной камыщ!

ВЕТЕР

Цапля с рыбою в зобу
Полетела за плотину,
Вила милая, забудь
Легкой корки паутину.
Я в раскаяньи позднем
Говорю прощайте корням.

ВИЛА

Удалого рыболова
Плеском влаги испугаю.
Чу, опять пронесся снова
Водяного рева бугая.
Сестры, подруги,
Зубом мышинным
Рвите тенета,

Невод точите,
Ветер, маши нам,
Тихие кричите,
После поймете.

ДЕВЫ

Ля! Ля! Ля!
Девушки, Ля!
Рвет невода
Белая жинка.
Всюду заминка,
Льется вода.
Снят тополь.
Синья доля
Ранней зари.
Сказку глаголя,
Шли рыбаки.
В руке их уда,
Идут сюда.

УТРО

Поспешите, пастухата!
Ни видений, ни ведуний,
Черный дым встает на хате,
Все спокойно и молчит.
На селе, в далекой клуне
Цеп молотит и стучит.
Скот мычит, пастух играет,
Солнце красное встает.
И, как жар, зари играет,
Вам свирели подает.

[Октябрь 1919]

ЛАДОМИР

И замки мирового торга,
Где бедности сияют цепи,
С лицом злорадства и восторга
Ты обратишь однажды в пенел.
Кто изнемог в старинных спорах
И чей застенок там на звездах,
Неси в руке гремучий порох —
Зови дворец взлететь на воздух.
И если в зареве пламен
Уж потонул клуб дыма сизого,
С рукой в крови взамен знамен
Бросай судьбе перчатку вызова.
И если меток был костер
И взвился парус дыма синего,
Шагай в пылающий шатер,
Огонь за пазухою — вынь его.
И где ночуют барыши,
В чехле стекла, где царский замок,
Приемы взрыва хороши
И даже козни умных самок.
Когда сам бог на цепь похож,
Холоп богатых, где твой нож?
О, девушка, души косой
Убийцу юности в часы свидания
За то, что девою боею

Ты у него молила подаяния.
Иди кошачью походкой,
От нежной полночи чиста.
Больная, поцелуй чашоткой
Его в веселые уста.
И ежели в руке железа нет —
Иди к цепному псу,
Целуй его слюну,
Целуй врага, пока он не исчезнет.
Холоп богатых, улю-лю,
Тебя дразнила нищета,
Ты полз, как нищий, к королю
И целовал его уста.
Высокой раною болей,
Снимая с зарева засов,
Хватай за ус созвездье Водолея,
Бей по плечу созвездье Псов!
И пусть пространство Лобачевского
Летит с знамен ночного Невского.
Это шествуют творяние,
Заменявши Дэ на Тэ,
Ладомира соборяне
С Трудомиром на шесте.
Это Разина мятеж,
Долетев до неба Невского,
Увлекает и чертеж
И пространство Лобачевского.
Пусть Лобачевского кривые
Украсят города
Дугою над рабочей выей
Всемирного труда.
И будет молния рыдать,
Что вечно носится слугой,

И будет некому продать
Мешок от золота тугой.
Смерть смерти будет ведать сроки,
Когда вернется он опять,
Земли повторные пророки
Из всех писем изгонят ять.
В день смерти зим и раннею весной
Нам руку подали венгерцы.
Свой замок цен, рабочий, строй
Из камней ударов сердца.
И, чокаясь с созвездьем Девы,
Он вспомнит умные напевы
И голос древних силачей,
И выйдет к говору мечей.
И пусть мещанскую резьбою
Дворцов гордились короли,
Как часто вывеской резьбою
Святых служили костыли.
Когда сам бог на цепь похож,
Холоп богатых, где твой нож?
Вперед, колодники земли,
Вперед, добыча голодовки.
Кто трудится в пыли,
А урожай снимает ловкий.
Вперед, колодники земли,
Вперед, свобода голодать,
А вам, продажи короли,
Глаза оставлены — рыдать.
Туда, к мировому здоровью,
Наполните солнцем глаголы,
Перуном плывут по Днепровью
Как падшие боги, престолы.
Лети, созвездье человежье,

Все дальше, далее в простор,
И перелей земли наречья
В единый смертных разговор.
Где роем звезд расстрел небес,
Как грудь последнего Романова,
Бродяга дум и друг повес
Перекует созвездье заново.
И будто перстни обручальные
Последних королей и плахи,
Носитесь в воздухе печальные
Раклы, безумцы и галахи.
Учебников нам скучен щебет,
Что лебедь черный жил на юге,
Но с алыми крылами лебедь
Летит из волн свинцовой вьюги.
Цари, ваша песенка спета.
Помолвлено лобное место.
И таинство воинства — это
В багровом слетает невеста.
И пусть последние цари,
Улыбкой побораая гнев,
Над заревом могил зари
Стоят, окаменев.
Ты дал созвездью крыло,
Чтоб в небе мчались пехотинцы,
Ты разорвал времен русло
И королей пленил в зверинцы.
И он сидит, король последний,
За четкою железною решеткой,
Оравы обезьян соседьш,
И яда дум испивши водки.
Вы утонули в синей дымке
Престолы, славы и почет.

И, дочь думы-невидимки,
Слеза последняя течет.
Столицы взвились на дыбы,
Отгромив копытами долы,
Живые шествуют — дабы
На приступ на престолы.
Море вспомнит и расскажет
Грозным своим глаголом —
Замок кружев девой нажит,
Пляской девы пред престолом.
Море вспомнит и расскажет
Грозовым своим раскатом,
Что дворец был пляской нажит
Перед ста народов катом.
С резьбою кружев известняк
Дворца подруги их величий,
Теперь плясуньи особняк
В набат умов бросает кличи
Ты помнишь час ночной грозы,
Ты шел по запаху врага,
Тебе кричало небо «взы!»
И выло с бешенством в рога.
И по небу почерк палаческий,
Опять громовые удары,
И кто-то блаженно дураческий
Смотрел на земные пожары.
Упало Гэ Германии.
И русских Эр упало.
И вижу Эль в тумане я
Пожара в ночь Купала.
Смычок над тучей подыми,
Над скрипкою земного шара
И черным именем клейми

Пожарных умного пожара.
Ведь царь лишь попрошайка
И бедный родственник король, —
Вперед, свободы, шайка,
И падай, молот воля!
Ты будешь пушечное мясо
И струнным трупом войн — пока
На волны мирового пляса
Не ляжет ветер гопака.
Ты слышишь: умер «хох»,
«Ура» умолкло и «банзай», —
Туда, где красен бог,
Свой гнева стон вонзай.
И умный череп Гайаваты
Украсит голову Моиблана —
Его земля не виновата,
Войдет в уделы Людостана.
И к онсам мчатся вальпарайсы,
К ондурам бросились рубли.
А ты, безумец, постарайся,
Чтоб острый нож лежал в крови.
Это ненависти ныне вести,
Их собою окровавь,
Вам былых столетий ести,
В море дум бросайся вклавь.
И опять заиграй, заря,
И зови за свободой полки,
Если снова железного кайзера
Люди выйдут железом реки.
Где Волга скажет «лю»,
Янтцекиянг промолвит «блю»,
И Миссисипи скажет «весь»,
Старик Дунай промолвит «мир»,

И воды Ганга скажут «я»,
Очертит зелени края
Речной кумир.
Всегда, навсегда, там и здесь,
Всем всё, всегда и везде, —
Наш клич пролетит по звезде!
Язык любви над миром носится
И Песня Песней в небо просится.
Морей пространства голубые
В себя заглянут как в глазницы,
И в чертежах прочту судьбы я,
Как блещут алые зарницы.
Вам войны выклевали очи,
Идите, смутные слепцы,
Таких просите полномочий,
Чтоб дико радовались отцы.
Я видел поезда слепцов,
К родным протянутые руки,
Дела купцов — всегда скупцов —
Порока грязного поруки.
Вам войны оторвали ноги —
В Сибири много костылей —
И может быть пособят боги
Пересекать простор полей.
Гуляйте ночью, костяки,
В стеклянных просеках дворцов,
И пусть чеканят остряки
Остроты звоном мертвецов.
В последний раз над градом Крушна,
Костями мертвых войск шурша,
Носилась золотого трупа
Везде проклятая душа.
Ты населил собой остроги,

Из поручней шагам созвучие,
Но полно дыма и тревоги,
Где небоскреб соседит с тучею.
Железных кайзеров полки
Покрылись толстым слоем пыли.
Былого пальцы в кадыки
Впились судорогою были.
Но струны зная грязь,
Одев рубахой язву,
Ты знаешь страшный наигрыш,
Твой стон — мученья разве?..
И то впервые на земле:
Лоб Разина резьбы Коненкова,
Священной книгой на Кремле,
И не боится дня Шевченко.
Свободы воин и босяк,
Ты видишь, пробежал табун?
То буйных воль косяк,
Ломающих чугуи.
Колено ставь на грудь.
Будь сильным как-нибудь.
И ветер чугуиных осп иди
Под шопоты «господи, господи».
И древние болячки от оков
Ты указал ночному богу —
Ищи получше дураков! —
И небу указал дорогу.
Рукой земли зажаты рты
Закопанных ядром.
Неси на храмы клеветы
Ветер пылающих хором.
Кого за горло душит золото
Неумолимым кулаком,

Он, проклиная силой молота,
С глаголом молнии знаком.
Панов не возит шестерик
Согнувших голову коней,
Пылает целый материк
Звездою пламени красней.
И вы, свободы образа!
Кругом венки ресницы тайн,
Блещат громадные глаза
Гуррият Эль-Айн.
И изречения Дзюнкавы
Смешает с чистою росою,
Срыва лепестки купавы,
Славянка с русою косой.
Где битвы алое говядо
Еще дымилось от расстрела,
Идет свобода Неувяда,
Поднявши стяг рукою смело.
И небоскребы тонут в дыме
Божественного взрыва,
И объят кольцами седыми
Дворец продажи и наживы.
Он, город, что оглоблю бога
Сейчас сломал о поворот,
Спокойно стал, едва тревога
Его волнует конский рот.
Он, город, старой правдой горд
И красотою смеха сила —
В глаза небеснейшей из морд
Жует железные удила;
Всегда жестокий и печальный,
Широкой бритвой горло нежь! —
Из всей небесной готовальни

Ты взял восстания мятеж,
И он падет на наковальню,
Под молот — божеский чертеж.
Ты божество сковал в подковы,
Чтобы верней служил тебе,
И бросил меткие оковы
На вороной хребет небес.
Свой конский череп человека,
Его опутав умной гривой,
Глаза белилами калеча,
Он, меловой, зажег огниво.
Кто всадник и кто конь?
Он город или бог?
Но хочет скачки и погонь
Набатный топот его ног.
Туда, туда, где Изанаги
Читала Моногатори Перуну,
А Эрот сел на колени Шангги
И седой хохол на лысой голове
Бога походит на снег,
Где Амур целует Маа-Эму,
А Тиэн беседует с Индрой,
Где Юнона с Цинтекуатлем
Смотрят Корреджио
И восхищены Мурильо,
Где Ункулункулу и Тор
Играют мирно в шашки,
Облокотясь на руку,
И, Хоккусаем восхищена,
Астарта — туда, туда!
Как филинов кровавый ряд,
Дворцы высокие горят.
И где труду так вольно ходится

И бьет руду мятежный кий,
Блестят, мятежно глубоки,
Глаза чугунной богородицы.
Опять воли мычат в пещере,
И козье вымя пьет младенец,
И идут люди, идут звери
На богороды современниц.
Я вижу конские свободы
И равноправие коров,
Былиной снов сольются годы,
С глаз человека спал засов.
Кто знал — нет зарева умней,
Чем в синеве пожара конского,
Он приютит посла коней
В Остоженке, в особняке Волконского.
И вновь суровые раскольники
Покроют морем Ледовитым
Лица ночные треугольники
Свободы звездами закрытой.
От месяца «Ая» до недель «играй
овраги»

Целый год для нас страда,
А говорят, что боги благи,
Что нет без отдыха труда.
До зари вдвоем с женой
Ты вязал за снопом сноп.
Что ж сказал господь ржаной?
— Благодарствую, холоп. —
И от посева до ожина,
До первой снеговой тропы,
Серпами белая дружина
Вязала тяжкие снопы.
Веревкою обмотан барина,

Священников целуемый бичом,
Дыши как вол — пока испарина
Не обожжет тебе плечо,
И жуй зеленую краюху,
Жестокый хлеб, который дён?
Пока рукой земного рука
Не будешь ты освобожден.
И песней веселого яда
Наполни свободы ковши,
Свобода идет Неувяда
Пожаром вселенской души.
Это будут из времени латы
На груди мирового труда
И числу, в понимании хаты,
Передастся правительств узда.
Это будет последняя драка
Раба голодного с рублем,
Славься дружба пшеничного злака
В рабочей руке с молотком.
И пусть моровые чернила
Покроют листы бытия,
Дыханье судьбы изменило
Одежды свободной края.
И он вспорхнет, красивый угол
Земного паруса труда,
Ты полетишь бессмертно смугол,
Священный юноша, туда.
Осада золотой чумы.
Сюда глазниц небесных воры,
Умейте, лучшие умы,
Намордники одеть на моры!
И пусть лепечет звонко птаха
О синем воздухе весны,

Тебя низринет завтра плаха
В зачеловеческие сны,
Это у смерти угесов
Прибой человечества.
У великороссов
Нет больше отечества.
Где Лондон торг ведет с Китаем,
Высокомерные дворцы,
Панамою надвинув тучу, их пепла не считаем
Грядущего творцы.
Так мало мы утратили,
Идя восстания тропой, —
Земного шара председатели
Шагают дерзкою толпой.
Тринадцать лет хранили будетляне
За пазухой, в глазах и взорах,
В Красной уединясь Поляне,
Дней октября зажженный порох.
Держатель знамени свобод,
Уадою правящий ездой,
В нечеловеческий поход
Лети дорогой голубой.
И, похоронив времен останки,
Свободу пей из звездного стакана,
Чтоб громыхал по солнечной болванке
Соборный молот великана.
Ты прикрепшишь к созвездью парус,
Чтобы сильнее и мятежней
Земля неслась в надмирный ярус
И птица звезд осталась прежнею.
Смета с лица земли торговлю
И замки торго бросив ниц,
Из звездных глыб построишь кровлю —

Стекланный колокол столиц
Решеткою зеркальных окон
Ты синих зарев неясить,
И ты прядешь из шелка кокон,
Полеты — гусеницы нить.
И в землю бьют как колокола
Ночные звуки — великаны,
Когда их бросят зеркала
И сеть столиц раскинет станы.
Где гребнем облаков в ночном цвету
Расчесано полей руно,
Там птицы ловят на лету
Летающее с небес зерно.
Весною ранней облака
Пересекал полетов знахарь,
И жито сеяла рука,
На облаках качался пахарь.
Как узел облачный идут гужи,
Руна земного бороны,
Они взрастут колосья ржи,
Их холят неба табуны.
Он не просил: «Будь добр, боги ми,
И урожай густой роди!»
Но уравниеньям верил озими
И нес ряд чисел на груди.
А там муку съедобной глины
Перетирали жерновами
Крутых холмов ночные млины,
Маша усталыми крылами.
И речи знания в молнийном теле
Гласились юношам веселым,
Учебники по воздуху летели
В училища по селам.

За ливнями ржаных семян ищи
Того, кто пересек восток,
Где поезд вез на север ши,
Озер съедобный кипяток.
Где удочка лежала барина
И барчуки катались в лодке,
Для рта столиц волна зажарена,
И чад идет озерной водки.
Озерных шей ночные паровозы
Везут тяжелые сосуды,
Их в глыбы синие скуют морозы
И принесут к глазницам люда.
Вот море, окруженное в чехол
Холмообразного стекла,
Дыма тяжелого хохол
Висит чуприной божества.
Где бросала тень постройка
И дворец морей готов,
Замок вод возила тройка
Море всенивших китов.
Зеркальная пустыня облаков,
Озеродей летать силен.
Баян восстания письмен
Засеял нивами станков.
Те юноши, что клятву дали
Разрушить языки —
Их имена вы угадали —
Идут увенчаны в венки.
И в дерзко брошенной овчине
Проходишь ты, буен и смел,
Чтобы зажечь костер почина
Земного быта перемен.
Дорогу путника люба,

Он взял ряд чисел, точно налку,
И, корень взяв из пет себя,
Заметил зорко в нем русалку.
Того, что ничего нема,
Он находил двуличный корень,
Чтоб увидеть в стране ума
Русалку у кокорин.
Где сквозь далеких звезд кокошник
Горят Печоры жемчуга,
Туда иди, небес помощник,
Великий силой рычага.
Мы в ведрах пронесем Неву
Тушить пожар созвездья Псов,
Пусть поезд копотью прорежет синеву,
Взлетая по сетям лесов.
Пусть небо ходит ходуном
От тяжкой поступи твоей,
Скрепи созвездие бревном
И дол решеткою осей.
Как муравей ползи по небу,
Исследуй его трещины
И, голубой бродяга, требуй
Те блага, что тебе обещаны.
Балды, кувалды и кюры
Жестокой силой рычага
В созвездьях ночи воздвигал
Потомок полуночной бури.
Поставив к небу лестницы,
Надень шишак пожарного,
Взойдешь на стены месяца
В дыму огня угарного.
Надень на небо молоток,
То солнце на два поверни,

Где в красном зареве Восток,
Крути колеса шестерни.
Часы меняя на часы,
Платя улыбкою за ужин,
Удары сердца на весы
Кладешь, где счет работы нужен.
И зоркие соблазны выгоды,
Неравенство и горы денег —
Могучий двигатель в лони годы —
Заменит песней современник.
И властный озарит гудок
Великой пустыни молчания,
И поезд, проворный ходок,
Исчезнет созвездья венчаннее.
Построив из земли катушку,
Где только проволока гроз,
Ты славись милую пастушку
У ручейка и у стрекоз,
И будут знаки уравниенья
Между работами и ленью,
Умершей власти без сомненья
Священный жезел верен пенью.
И лень и мать вдохновенья,
Равновеликая с трудом,
С нездешней силой упоенья
Возьмет в ладонь державный лом.
И твой полет вперед всегда
Повторят позже ног скупцы.
И время громкого суда
Узнают истины купцы.
Шагай по морю клеветы.
Пружинь шаги своей пяты!
В чугунной скорлупе орленок

Летит багровыми крылами,
Кого недавно как теленок
Лизал, как спичечное пламя.
Черти не мелом, а любовью,
Того, что будет чертежи.
И рок, слетевший к изголовью
Наклонит умный колос ржи.

22 мая 1920 г.

НОЧЬ ПЕРЕД СОВЕТАМИ

I

Сумрак серый, сумрак серый,
Образ — дедушки подарок.
Огарок скатерть серую закапал.
Кто-то мешком упал на кровать,
Усталый до смерти, без меры.
В белых волосах, дико всклокоченных,
Видна на подушке большая седая голова.
Одеяла тепло падает на пол.
Воздух скучен и жуток.
Некто притаился,
Кто-то ждет добычи.
Здесь не будет шуток,
Древней мести кличи!
И туда вошло
Видение зловещее.
Согнуто крючком,
Одето, как нищая,
Хитрая смотрит,
Смотрит хитрая!
«Только пыли вытру я.
Тряпки-то нет!»
Время! Скажи! Сколько старухе
Минуло лет?

В зеркало смотрится — гробы.
Но зачем эти морщины злобы?
Встала над постелью
С образом девичьим,
Точно над добычей
Стоит и молчит.
«Барыня, а барыня!» —
«Что тебе? Ключи?»
Лоб большой и широкий
В глазах голубые лучи
И на виски волосы белые дико упали,
Красивый своей мощью лоб окружая, обвивая.
«Барыня, а барыня!» —
«Ну что тебе?» —
«Вас завтра повесят!
Повисишь ты, белая.
Раненым зверем вскочила с кровати:
«Ты с ума сходишь? что с тобой делается?
Тебе надо лечиться». —
«Я за мукой пришла, мучицы.
Буду делать лепешки.
А времени, чай, будет скоро десять
Дай барыню разбуду». —
«Иди спать! Уходи спать ложиться!
Это ведьма, а не старуха.
Я барину скажу!
Я устала, ну что это такое,
Житья от нее нет,
Нет от нее покоя». —
Опустилась на локоть, и град слез побежал.
«Пора спать ложиться!»
Радостный хохот
В лице пробежал,

Темные глазки сделались сладки.
«Это так... Это верно... кровь у меня
мужичья.

В Смольном не была,
А держала вилы да веник..
Ходила да смотрела за кобылами.
Барыня, на завтра мне выдайте денег.
Барыня, вас завтра
Наверно повесят...»
Шопот зловещий
Стоит над кроватью
Птицею мести далеких полей.
Вся темнота крови засохшей цвета.
И тихо уходит,
Неясно шамкая:
«На скотном дворе работала,
Да у разных господ пыль выметала,
Так и умру я,
Слягу в могилу
Окаянную ханью».

2

В Смольном девицей была, белый носила
передник.
И на доске золотой имя записано: первое
шла.
И с государем раза два или три, тогда
был наследник,
На балу плясала в общей паре.
После сестрой милосердия спасала больных
в предсмертном паре, в огне,
В русско-турецкой войне.

Ходила за ранеными, дать им немного
ласки и нег.
Терпеливой смерти призрак, исчезая!
И заболела брюшною болезнью,
Лежала в бреду и жажде.
Смыльным потом помогала, сделалась
красной,
Была раз на собраньи прославленной
«Воли Народной» — опасно как!
На котором все участники позже
Каждый
Качались удушены
Шеями в царские вожжи.
Билися насмерть, боролись
Лучшие люди с неволей.
После ушла корнями в семью:
Возилась с детьми, детей обучала.
И переселилась на юг.
Дети росли странные, дикие,
Безвольные, как дитя,
Вольные на всё,
Ничего не хотя:
Художники, писатели,
Изобретатели.
Отец ее был со звездой старин
Бритый, высокий, холодный.
Теперь в друг друга, рукой книги и ржи,
Вонзили обе ножи:
Исчадие деревни голодной и сама столица,
на Неве, ее благородие.
Мучения ножики и наслаждения поржал,
муки и мести.
Глаза голубые и глаза темной жести.

Баба и барыня —
Обе седые, в лохматых седых волосах
Да у барыни губы в белых усах.
Равовались неге мести и муки.
Потом долго ломала барыня руки
На грязной постели.
Это навет!
А на кухне угли самовара
Уж засвистели.
Скоро барин придет,
Пусть согреет живот.

3

Старуха снова пришла, но другая.
«Слухай, барыня, слухай,
Побалакай с старухой!
Бабуся моя,
Как молодой была,
Дородной была.
И дородна и бела,
Чернобровая,
Что калач из печи! что пирог!
Славная девка была.
Бела и здорова,
Другую такую сыщи!
И прослыла коровой.
Парни-хлыщи!
Да глаза голубые веселухи закаянной!
А певунья какая!
Лесной птицы
Глотка звонче ее.
Заведет, запоет и с ума всех сведет.

Утром ходит в лесу,
Свою чешет косу,
И запоет!
Бредят борзые и гончие,
Барин коня своего остановит,
Рубль серебряный девке подорет
Барин лихой, седые усы...
А барин наш был собачар.
Псарню большую имел.
И на псарне его
Были черные псы, да курчавые;
Были белые все,
Только чуточку ржавые.
Скачут как бесы, лижут лицо,
Гнутя и выюга, как угри, в кольцо.
А сколько визга, а сколько лая,
Охота была удалая.
Барыня милая! воют в рога.
Скачут и ищут зайца-врага.
Белый снежок.
Скачет комочек —
Заячьи сны,
Белый на белом,
Уши черны.
Вот и начался по полю скак!
Тонут в пыли
Черные кони и бобыли!
Тонут в сугробах и тонут!
Гончие воют и стонут!
Друг через друга
Псы перескакивают,
Кроет их выюга,
Кто-то оплакивают,

Стонут и плачут.
А барин-то наш скачет... и скачет,
Сбруей серобряной блещет,
Черным арапником молотит и хлещет.
Зайчиха дрожит уже, вдовушка.
Людам любя заячья кровушка!
Зайца к седлу приторочит,
Снежного зайца, нового хочет.
Или ревет, заливаается в рог.
Лютые псы скачут у ног.
Скачут поодаль холопы любимые,
Поле белехонько, только кусточки,
Свищут да рыщут,
Свеженьких ищут собачие рточки.
С песней в зубах, в венках огонь!
Заячий кончится гон,
Барин удалый к бабе приедет
Даст ей щеночка:
«Эй, красота!
Вот тебе сын, али дочка,
Будь ему matka родимая.
Барскому псу дай воспитание».
Барину псы дорогая утеха, а бабе они —
испытание!
Бабонька плачет,
Слезками волосы русые вымоет,
Песик весь махонький — что голубок!
Барская милость — рубль на зубоя.
«Холи и люби, корми молоком!
Будет тебе богоданным сыном».
Что же поделает бабонька бедная?
Встанет у притолки бледная
И закатит большие глаза — в них слеза.

Отшатнется назад,
Схватит рукою за грудь
И заохает, и заохает!
Вся дрожит. Слезка бежит,
Точно ножом овду полоснули.
Ночь. Все уснули.
Плачет и кормит щеночка-сыночка
Всю ночку.
Барская хамка — песика мамка! —
Чужие ведь санки!
Барин был строгий, правдивой осанки,
С навесом суровым нависших бровей,
И княжеских, верно, кровей.
Был норовитый,
Резкий, сердитый,
Кудри носил серебристые —
Помещик был истый,
Длинные к шее спускались усы. —
Теперь он давно на небеси,
Батюшка-барин!
Будь земля ему пухом!
Арапник шуршал: шу да шу! полз ровно
змея,

Как я заслышу,
Девчонка, застыну и не дышу,
Спрячуся в лен или под крышу.
Шепчет как змей: «не свищу, а шкуру
спущу».

А барин арапником
Вдруг как шарахнет
Холопа по морде!
Помещик был истый да гордый.
И к бабке пришел: «На, воспитай!

Славный мальчик, крови корошей,
А имя — Летай!
Щенка стерегись, не души!
Немилость узнаешь барской души!
Эй гайдуки!
Дайте с руки!
Из полы в полу!»
И вот у бабуши щеночек веселый.
А от деда у ней остался мальчишка,
Толстый да белый, ну, словно пышка,
Глаза голубые.
Взять бы и скушать!
Дед-то, вишь, помер, зачах,
Хоть жили оба на барских харчах!
Сидит на скамейке,
Ерошит спросонку
Свои волосенки.
Такой кучерявый, такой синеглазый
Игры да смех, любит проказы!
Бабка заплакала. Вся побледнела.
И зашаталась,
Бросилась в ноги,
Серьгою звеня!
«Барин, а барин! спасите меня!»
Ломит, ломает белые руки!
Кукиш! матушка-барыня, кукиш!
«Арапником будет Спаситель,
Ты ему matka,
Кабыздох был родитель». —
Вот и вся взятка!
Кукиш. Щеночек сыночком остался.
Хлопнулась о пол, забилась в падучей,
Барин затопал,

Стукнул палкою.
Угрюмый ушел, не прощаясь, без ласки!
Брови как тучи.

Вот и жизнь началась!
Так и заснули втроем,
Два ведра на коромысле: черный
щенок и сынок милочкий.
На одной руке собака повисла,
Тявкает, мать собачую кличет,
Темного волоса ищет,
Сладко заснул зайцев сыщик!
Грезит про снежное поле и скачку!
Храпит собачка.
А на другой
Папана родимый обнял ручками грудь,
Ротиком в мать родимую тычет,
Песни мурлычит,
Глаза протирает и нежится,
Родненький,
Темной возле родинки.
Или встает и сам с собою играет,
Во сне распеваает.
Грезит, поет малое дитя,
Ручкою тянет матери грудь.
Жуть!
Греет ночник.
Здесь собачища
С ртищем
Зайчище ловить, в зубищах давить.
А там мой отец, ровно скотец,

На материнскую грудь
Разевает свой ртец,
Бйную грудку сосет мальчик слонявый.
И по сонной реке две груди — два лебедя
плывут.
А рядом повиснул щенок, будто рак и
чернеет, лапки-клешни!
Чмок да чмок! мордашкой звериной
в бабкину грудь.
Тяв да тяв, чернеет, всю искусал...
собачьими зубками царапает.
А рядом отец — бедный дурак... сирота
соломенный,
Горемычный, то весь смеется, то слезками
капает.
Вот и кормит всю ночь бабка, бабуся моя,
Щеночка-сыночка, да вскрикнет.
А после жутко примолкнет, затихнет.
На груди своей матушки и собачьей няне
Бедный папая предлеж.
Дитя-мотылек.
Грудь матери ветка.
Песик, шелковый, серый, курчавый комочек
Теплым греет животиком,
Сладким нежится котиком,
А рядом папая
К собачьей няне
И матери милой курчавится,
Детским тянется ротиком
К собачьей няне, целуется да балуется!
Бьет, веселится мальчонка, колотит
в ручонки,
Тянется — замер.

К матери, что темнеет на подушке
большими, как череп, глазами,
Чье золото медовое волнуется, чернеет,
Рассыпалось на грудь светлыми, как рожи,
волосами,
Прилез весь голенький, сморщенный,
глазками синей,
Красненьким скотиком,
Мальчик кудрявенький головой белобрысой,
белесой

В грудьку родимую тычет.
А в молоке нехватка и вычет!
Матери неоткуда его увеличить!
И оба висят как повешенные.
Лишь собачища
Сопит,
Черным чутьем звериным
Нежную ищет сонную грудь, ползет по
перинам.
Мать... у нее на смуглом плече, прекрасно
нагом,

Белый с черными пятнами шелковый пес!
Имя ему — Летай-Кабыздож
А на другом,
Мух отгоняя,
Мой папая
Над головкою сонною ручку занес...
Чмокает губками сонными.
Вот и плачет она тихо каждую ночь,
Слезы ведрами льет.
Грудь одна ее, знай, — милому сыну ее,
синеглазому,
Что синие глазки таращит и пучит.

А другую сосет пес властелина ее.
Шелковый пудик
Кровь испортил молодки невинную.
Зачем я родилась дочкой?
И по ночам в глазах целые ведра слез.
Бабка как вскочит босая,
Да в поле, да в лес! темной ночью, а
бура шумит!

И леший хохочет.
И, бог сохрани, потревожить! —
Мачехой псу быть не может!
Вот и стала мамкой щеночка.
Вот и плачет всю ночь.
Осеннюю ночью — ведра слез!
Черный шелковый комок на плечо ей слез.
И зараз чмок да чмок.
Собачье дитя и человекье,
А делать нечего!
Захиреешь в плетях,
Засекут, подашь если в суд! — штаны снимай!
Сдерут с кожи алый лоскут; положат на
лавку!

Здесь выжлец, с своим хвостищем, —
А здесь мой отец, возле матери нищим!
Суседские дети мух отгоняли.
Барыня милая!
Так-то в то время холопских детей
С нечистой тварью равняли.
Так они вместе росли, щенок и ребенок.

*

И истошала же бабка!
Как щепка.

Задумалась крепко!
Стала худеть!
Бела как снежок,
Стала белей горностаюшки.
В чем осталась душа?
Да глазами молодка больно хороша!
Мамка Летая
Как зимою по воду пойдет да ведра

возьмет —

Великомученица ровно ходит святая!
В черной шубе прозрачно стала, да темны
глаза.

Свечкою тает и тает.
Лишь глаза ее светят как звезды,
Если выйдет зимою на воздух.
Не жилец на белом свете,
Порешили суседи!
А Летай вырос хорош,
День ото дня хорошея!
Всегда беспокойный,
Статный, поджарый, высокий, стройный!
Скажут Летаю, прыгнет на шею
И целует тебя, по-собачьи!
Быстрых зайцев давил как мышей,
Лаля,
Барин в нем души не чаял!
«Орлик, цуцик! цуцик!»
И кормит цыплятами из барских ручек.
Всех наш Летай удивил.
А умный! Даром собачьих книг нет!
Вечно то скачет, то прыгнет!
Только папана, в темный денек,
Раз подстерег

И на удавке в удавил.
И повесил
Перед барскими окнами.
У барина перед окнами
Отродье песье
Висит. Где его скок удалой, прыть!
«Чтобы с ним господа передохнули,
Пора им могилу рыть!»
Утром барин встает,
А на дворе вой!
Смотрит: пес любимый,
Удавленный папой,
Висит как живой,
Кружится,
Машет лапой.
Как осерчал!
Да железной палкой в пол застучал:
«Гайдук!
Эй!
Плетей!»
Да плетьми, да плетьми!
Так и папаню
Засек до чахотки,
Кашель красный пошел. На скамейке лежит —
В грубу лежат краше!
А бабку деревня
Прозвала Собакевной.
Сохнуть она начала, задушевная!
Нет, не уйти ей от барского чиха!
Рябиною стала она вянуть и сохнуть!
Первая красавица, а теперь собачиха.
Встанет и охнет:
«Где вы, мои золотые

Дни и денечки?
Красные дни и годочки,
Желтые косы крутые?»
Худая как жердь,
Смотрит как смерть.
Все ушло и прошло!
И вырвет седеющий клок.
И стала тянуть стаканами водку,
Распухшее рыло.
Вот, как оно, барыня, было!
Черта ли?
Женскую грудь собачонкою портили!
Бабам давали псов в сыновья,
Чтобы кумились с собаками.
Мы от господ не знали житья!
Правду скажу:
Когда были господские,
Были мы ровно не люди, а скотские!
Ровно корова!
Бают, неволю снова
Вернуть хотят господа?
Барыня, да?
Будет беда,
Гляди, будет большая беда!
Что говорить!
Больше не будем с барскими свиньями
есть из корыт!»

Пришла и щечет:
«Барыня, а барыня!» —
«Ну что тебе, я спать хочу!» —
«Вас скоро повесят!
Хи-их-хи! их-хи-хи!

За отцов за грехи!»
Лицо ее серо точно мешок,
И на нем ползал тихо смешок!
«Старуха, слушай, пора спать!
Иди к себе!
Ну что это такое,
Я спать хочу!»
Белым львом трясется большая седая голова.
«Ведьма какая-то,
Она и святого взбесит». —
«Барыня, а барыня!» —
«Что тебе?» —
«Вас скоро повесят!»
Барин пришел. Часы скрипят.
Белый исчерченный круг.
«Что у вас такое? Опять?» —
«Барин мой миленький,
Я на часы смотрю,
Наверное скоро будет десять!» —
«Прямо покоя нет.
Ну что это такое:
Приходит и говорит,
Что меня завтра повесят».

4

В печке краснеет пламя зари,
Ходит устало рука;
Как кипяток молока, белые пузыри над
корытом облака.
Льются мыльные стружки, льется мыльное
кружево;

Шумные лезут наружу вон.
А голубое от мыла корыто
Горами снега покрыто.
Липовое корыто.
Грязь блестела глазами цыганок.
Пены белые горы, как облака молока,
на руки поползут.

Лезут наверх, громоздятся.
Добрый грязи струганок —
Кулак мост белье,
Руки трут:
Это труд старой прачки.
Синеет вода.
Рубанок белья эти руки.
Эх, живешь хуже суки!
Долго возиться с тряпками тухлыми.
Руки распухли веревками жил, голубыми,
тугими и пухлыми.

Дворник трубкой попыхивает, золотым
огнем да искрами.

Лесной бородач, из поволжья лесистого.
В доме здесь он служил.
Белый пар из корыта
Прачку закрыл простыней,
Облаком в воздухе встал
Причудливым чудищем белым.
Прачки липо сумраком скрыто.
К рукам онемелым,
Строгавшим белье,
Ломота приходит — знать к непогоде.
В алле зори печки огонь пары распустил.
На веревках простыни, штаны белели.

Дело известное.
Из сословья имущего!
А белье какое!
Не белье, а облако небесное.
А кружева, а кружева на штанах.
— Тьма господняя,
— Тьма тьмушая.
Вчера и сегодня
Ты им услуживай,
А живи в сырых стенах!
Вот я и мучаюсь,
Стирать нанята,
Чтобы снежной мглою
Зацвели
Подштанники.

[4 ноября 1921]

НАСТОЯЩЕЕ

I

Над белым сумраком Невы,
У подоконника окна,
Стоял, облокотясь,
Великий князь.
«Мне мил был
Сумрак сельской хаты
И белая светелка,
Соломенная челка
Соломы черной и гнилой,
Ее соломенный хохол
И на завалинке хохол.
И все же клич: «царей долой» —
Палит и жжет мне совесть.
Лучи моего духа
Селу убогому светили,
Но неприязненно и сухо
Их отрицали и не любили.
«Он захотел капусты кислой» —
Решил народный суд.
А я ведро на коромысле
Из березы пою, их вечером несут.
Суровую волею голи глаголы висят
на глаголе.

Я, самый верхний лист
На дереве царей,
Подземные удары
Слышу, глухой подземный гул.
Нас кто-то рубит,
Дрожат листы,
И вороны летят далече.
Чу! Чую, завтра иль сегодня
Всё дерево на землю упадет.
Железа острие нас рубит.
И дерево дрожит предсмертной дрожью». —
Нежнее снежной паутины
И снежных бабочек полна,
Над черной бездною ночей
Летела занавесь окна.
И снежный камень ограничил,
Белее чести богоматери,
Его высокий полусвод.
«Народ нас создал, возвеличил.
Что ж, приходи казнить, народ!
Какой холодный подоконник!
И смотрят звезды — веший сонник!
Да, настужь ко всему людей пророческие
очи!

Придет ли смерть, загадочная сводня,
И лезвием по горлу защекочет,
Я всё прийму сегодня,
Чего смерть ни захочет.
Но сердцу темное пророчит.
Что ждет меня — какая чаша?
Ее к устам моим несут!
Глухой острог, параша,
Глухой острог, затерянный в лесу,

Среди сугробов рудники
И ты печальная, параша,
Жестоких дней приятельница?
Там полетят в меня плевки,
Я буду для детей плевательница?
Как грустен этот мир.
Время бежит, перо писарей
Торопится,
Царей
Зовет охолопиться...
И буду я висеть на виле;
А может, позже
Меня удавят те же вожжи,
Какими их давили.
Смерть! Я — белая страница!
Чего ты хочешь — напиши!
Какое нынче вдохновение ее прихода
современнее?

Ранней весной, не осенью,
Наше сено царей будет скошено.
Разлукой с небом навсегда,
Так на земь катится звезда
Обетом гибели труда.
Ах, если б снять с небесной полки
Созвездий книгу,
Где все уж сочтено,
Где жизни нить и плахи нить и смеха нить
В едином шелке
Ткало веретено,
Покорно роковому игу,
Для блеска звездных игол.
И показать людей очей корыту
Ее задумчиво открытую...

Мне станет легче извинить
И палача и плаху
И даже лесть кровавому галаху.
Часов времен прибою внемля,
Подкошенный подсолнух я
Сегодня падаю на землю.
И вот я смерти кмотр.
Душа моя готовится на смотр
Отдать отчет в своих делах.
Что ждет меня?
Глухой темничный замок,
Ужимки за решеткой самок,
Толпа безумных дураков
И звон задумчивых оков?
И я с окованной рукой,
Нарушив прадедов покой,
Сойду туда?»

II

ГОЛОСА И ПЕСНИ УЛИЦЫ

1

Цари, цари дрожали,
Цари, цари дрожат!
На о
На обух
Господ,
На о,
На обух
Господ,

На о,
На обух
Царей,
Царя,
Царя,
Народ,
Народ,
Народ,
Кузнец,
Молб,
Молотобоец.
Нарб,
Народ
Берет,
Берé
Берет
Господ,
На о, на о царей
Берет,
Кладет
Народ,
Молб,
Молотобоец
Царé,
Царей
На обух,
Пусть ус
Споко́ятся
В Сиби,
В Сибирских су,
Сугро,
Сугробах белых.
Господ, господ кладет,

Кладет, кладет
Народ,
Кладет,
Кладет
Народ,
Кладет белого царя,
Кладет белого царя! Белого царя!
Белого царя!
— Царя!
А мы! — А мы глядим, а мы, а мы
глядим!

Цари, цари дрожат!
Они, они дрожат!

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ

Что? Уже начинается?

(Смотрит на часы.)

Да, уже пора!

2

ГОЛОСА С УЛИЦЫ

Мы писатели ножом!
Тай-тай тарарай,
Тай-тай тарарай!
Священники хохота,
Трай-тай тарарай.
Священники выстрелов.
Запевалы смерти,
Трай-тай тарарай.

Запевалы смерти,
Отцы смерти.
Трай-тай тарарай.
Отцы смерти.
Трай-тай тарарай.
Сына родила!
Невесты острога,
Трай-тай тарарай.
Сына родила!
Мыслители винтовкой,
Трай-тай тарарай.
Мыслители брюхом!

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ
Да, уж начинается!..

В воду бросила!
Тай-тай тарарай.
В воду бросила!
Тай-тай тарарай.
В воду бросила!

3

Кто?
— Люди!
А, бог на блюде!
Подан.
— Бог на брюхе!
— С новым годом!
Пли!

— Одною меньше мухой.
Пли!
Шашка сбоку!
— К сроку!
С глазами борова
Свинья в котле.
— Здорово.
Рази и грей!
В посылке — олово.
Священник!
— Милости просим!
— Алых денег
Бросим!
— А, прапор! добро пожаловать!
Ты белый, а пуля ала ведь!
Городовой на крыше!
— Прицелы выше!
Бог на пузе!
— В общий узел!
Площадь очищена!
— Винтовка, пищи на!
Красная подкладка.
— Гладко!
А вон проходит красота
Вся в черном, но дымится дуло.
— Ни черта!
И она уснула.
Священник!
— Отсыпь свинцовых денег!
В слуховом окне пулемет!
— По черной лестнице — вперед!
Пристав!
— Чисто.

Ты, белая повязка!
— Салазки!!
Лежат поленицей дров...
Наколотили... кровь.
Среди прицелов бешеных
Сестра идет помешанная
И что-то поет из «Князя Игоря»,
— Вдогонку! Выгорело.
На палках бог!
— Перо им в бок!
Пьяные бары.
— В Самару.
Плывет белуга.
— В Калугу.
Идут, молчат, ни звука!
Крадутся.
— В Москву.
Пли!
На уру!
— Тру!
Тах — тах — тах!
Идут
Люди закона
С книгами!
— Дать капли Дона!
Выгоним!
Идут — вновь
Муху на бровь.
— Стой! Здесь
Страшный Суд!
Пли!
— Тут!

Ловко!
Река!
Горит винтовка!
Горит рука!
Еще гробокопы!
— Послать в окопы!
С глазами жалости...
— Малой! — Стреляй! Не балуйся!
Разве наши выстрелы
Шага к смерти не убыстрили.

4

Мы писатели ножом,
Тай-тай, тара-рай!
Мы писатели ножом.
Священники хохота.
Тай-тай, тара-рай,
Священники хохота.
Святые зеленой корки,
Тай-тай, тара-рай,
Святые зеленой корки.
Запевалы паденья престолов.
Тай-тай, тара-рай.
Скрипачи на брюхе богатых,
Тай-тай, тара-рай.
Невесты острога,
Тай-тай, тара-рай.
Свободные художники обуха.
Знайте: самый страшный грех:
Пощада!

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ

Началось!

Оно!

Обугленное бревно

Божественного гнева

Качается, наделилось в окно.

Тай-тай, тара-рай.

Художники обуха.

Невесты острога.

Тай-тай, тара-рай.

В воду бросила!

Мощи в штанах.

Святые мощи в штанах.

Тай-тай, тара-рай.

Мощи в штанах.

Раска́,

Раскаты грома,

Горя,

Горят хоромы.

5

Ах, вы сони! Что по-барски

Вы храпите целый день?

Иль мила вам жизни царской

Умирающая тень?

Иль мила вам плетки древней

Налетающая боль

И в когтях цынки деревни

Опухающая голь?

Надевайте штаны,

В насекомых и дырах!

Часы бар сочтены,
Уж лежат на секирах.

Шагайте, усачи!

И нищие девчонки!

Несите секачи!

И с порохом боченки.

Братья и мужья,

У кого нет ножа,

У того есть мышьяк!

Граждане города,

В конском дымящемся кале

Вас кричат ножи,

Вас ножи искали!

Порешили ножи,

Хотят лезвием

Баловаться с барьем,

По горлу скользя.

Целоваться с барьем,

Миловаться с барьем,

Лезвием секача

Горло бар щекоча,

Лезвием скользя, —

А без вас нельзя!

Иди, беднота,

Столичная голь!

Шагай, темнота,

Как знамя — глаголь!

Несите нажим с Горячего поля

Войском нищим, войском нищим,

Чем блеснув за голенищем

Хлынем! Хлынем!

Вынем! Вынем!

Жарко ждут ножи — они зеркало воли.

ПЕСНЯ СУМРАКА

Видит господь,
 Нет житья от господ.
 — Одолели — одолели!
 Нас заели.
 Знатных старух,
 Стариков со звездой,
 Нагишом бы погнать,
 Ясноликую знать.
 Все господское стадо,
 Что украинский скот,
 Толстых, седых,
 Молодых и худых,
 Нагишом бы все снять,
 И сановное стадо,
 И сановную знать,
 Голяком бы погнать,
 Чтобы бич бы свистал,
 В звездах гром громыхал.
 Где пощада? где пощада?
 В одной паре с быком
 Господа с кадыком,
 Стариков со звездой
 Повести голяком
 И погнать босиком,
 Пастухи чтобы шли
 Со взведенным курком.
 Одолели! одолели!
 Околели! околели!
 Всех дворян бы согнать
 И сановную знать

Там, где бойни.
 Нам спокойней! Нам спокойней!
 Видит господь,
 Нет житья от господ.
 Ухарь боец
 Как блеснет тесаком!

ПРАЧКА

Я бы на живодерню
 На одной веревке
 Всех господ провела
 Да потом по горлу
 Провела, провела!
 А белье мое всполосну, всполосну!
 А потом господ
 Полосну, полосну!
 И — их!
 — Крови лужица!
 — В глазах кружится!
 Чтобы лучше целоваться
 И шептать ответом «да»,
 Скоро в тени одеваться
 Будут господа.
 Как нарядится барыня:
 Серьги — имение, целое имение!
 Как за стеклом — голодным харчи
 Их сияют лучи.
 Тень кругом глаз, чтобы глаз удлинить.
 Шляпа: «Ой, мамочка! не бей меня!».

Не шляпа, солнца затмение!
Две сажени! цветы да игла!
Серьги трясутся в ушах.
А шелка — ведь это целый ушат!
Зорькой небесной себя опоясывая,
Снежною бурей вьюгу на землю сбрасывают
Дочерям богатея.
Такая затея!
Я бы не могла.
Ты пройдешь, удалый ножик,
Около сережек!
Бары, дело известное!
Из сословья имущего.
А белье какое!
Не белье, а облако небесное!
Тьма тьмушая,
Тьма господняя
Кружева у барышни на штанах.
Вчера и сегодня ты им услуживай,
А живи в сырых стенах.

в

ГОЛОСА УЛИЦЫ

Разве вы
От холода не были
Вдвоем в землянке?
И от усталости не падали?
Не спали сытые на теплой падали?
Не спали на ходу, склонивши голову?
Так дейте дули — вот свинец и олово!

Я дочь народа
Простая, чернорабочая,
Сегодня вас свободой потчую!
Вот! говорят, на небе твоя ставка!
Сегодня ты — получасешь отставку!
На вилы,
Железные вилы подыдем
Святое для всех господя имя!
Святос, седое божие имя.
На небе громовержец,
Ты на земле собольи шубы держишь?
Медники глухого переулка!
Слышите раскаты грома гулкою:
Где чинят бога?
Будет на чуде ржа,
И будет народ палачом без удержя.
Речи будут его кумачевые.
Живи.
Будут руки его пугачевые
В крови!
Это время кулачных боев
Груди народной и свинцовой пули.
Слышите дикий, бешеный рев:
Люди проснулись.
Теперь не время мыть рубашки:
Иди, язык гремучих шашек!
Мыслители винтовкой.
Раскв,
Раскаты грома.
Горя,
Горят хоромы.
На о,
На обух господ...

ДРУГИЕ

Чтоб от жен и до наложниц:
 Господ нес рысак,
 Сам господь, напялив ножницы,
 Прибыль стриг бумаг.
 Тучной складкою жирели
 Купцов шен без стыда,
 А купчих без ожерелья
 Не видать бы никогда.
 Были сложены обедни.
 А где бог бедных?
 Кто бы рабочим
 Утром дал бы передник?
 И сказал «носи».
 Друг бедноты на небеси.
 И утром принес бы стакан молока?
 Наш бог в кулаке,
 Наша вера кулака!
 А наша рабочая темь.
 Стоит дрожа.
 Виновата тем, —
 В кулаке нет ножа.
 Ладонь без ножа.
 Хлынем, братушки, хлынем
 Войском нищим.
 Вынем, братушки, вынем
 Нож в голенище.
 Ярославль! Ты корову
 На крышу поставил!
 Рязань, ты телят могодцом
 Режешь огурцом.

Волга!
 Все за дворцом.
 Берем божбой
 Святой разбой!

10

Гож нож!
 Раскаты грома.
 Нож гож,
 Пылай, хоромы.

11

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ

О, роковой напев судьбы,
 Как солнце окровавило закатом
 Ночные стекла тех дворцов,
 А все же стекла голубы!
 Не так ли я, воспетый катом,
 Железным голосом секiry,
 Вдруг окровавлю жажду шири?

Рыжие усики.
 — Что, барышня, трусите?
 Гной знак.
 — Что, барышня, боязно?

[Ноябрь 1921]

УСТРУГ РАЗИНА

Где море бьется диким неугом,
Ломая разума дела,
Оно морские удила,
Ему рыдать и грезить не о ком,
Соленой пеной покрывая,
Грызет узду людей езды.
Так девушка времен Мамая,
С укором к небу подымая
Свои глаза большой воды,
Вдруг спросит нараспев отца:
«На что изволит гневаться?
Ужель она тому причина,
Что меч суровый в ножны сует,
Что гневная морщина
Ему лицо сурово полосует?
Согнав улыбку, точно клам,
Лик разделивши пополам!»
По затону трех покойников,
Где лишь лебеда лучи,
Вышел парусник разбойников
Иступить свои мечи.
Засунув меч кривой за пояс,
Ленивою осанкою покоясь,
В свой пояс шелково-малиновый
Кремни для пороха засунув,

Пока шумит волны о сыле вой
Среди взволнованных бурунов.
Был заперт порох в рог коровы,
На голове его овца.
А говор краткий и суровый
Шумел о подвигах пловца.
Как человеческую рожь
Собрал в снопы нездешний нож.
Гуляет пахарь в нашей ниве.
Кто много видел, это вывел.
Их души, точно из железа,
О море пели как волна,
За шляпой белого овечьего руна
Скрывался взгляд головореза.
Умеет рукоять столетий
Скользить ночами, точно тать,
Или по горлу королей
Кондом свирепо щекотать.
Или рукой седых могил
Ковать столетья для удил.
И Разина глухое «слышу»
Подымется со дна холмов,
Как знамя красное взойдет на крышу
И поведет войска умов.

И плахи медленные взмахи
Хвалили вольные галахи.
Была повольницей полна
Уструга укаяя корма.
Где пучина для почина
Силу бурь удесятеря,

Волги сияя овчина
На плечах богатыря.
Он стоит полунагой,
Горит пояса насечка,
И железное колечко
Опускается серьгой.
Не гордись лебяжьим видом
Лодки груди птичий выдум!
И кормы, весь в сваях угол,
Не таи полночных пугал.
Он кулак калек
Москве кажет — во!
Во душе его
Поет вещий Олег.
Здесь все сказочно и чудно,
Это воли моря полк,
И на самом носу судна
Был прибит матерый волк.
А отец свободы дикой
На парчевой лежит койке
И играет кистенем,
Чтоб копейка на попойке
Покатилась рублем.
Ножами наживы
Им милы, любезны
И ветер служивый
И смуглые бедны.
Он невидим и неведом
Быстро катится по водам.
Он был кум бедноты,
С самой смертью на ты.
Бревен черные корокы
Для весла гребцов опоры.

Сколько вражьих голов
Срубил в битве галах,
Знает чайка-рыболов,
Отдыхая на шестах.
Месяц взял того, что наго, вор.
На уструге тлеет заговор,
Бубен гром и песни дуд.
И прославленные в селах
Пастухи ножей веселых
Речи тихие ведут:
«От отечества, оттоле
Отманил нас отаман.
Волга-мать не видит пищи.
Время жертвы и жратвы.
Или разумом ты нищий,
Богатырь без головы?
Развяжи кошель, и грош
Бедной девки в воду брось!
Куксит, плачет целый день.
Это дело — дребедень.
Закопченною девчонкой
Накорми страну плотвы.
В гневе праведном сердая,
Волга бьется, правды чая.
Наша вера — кровь и зарево.
Наше слово — государево».
Богатырь поставил бревна
Твердых ног на доски палубы,
Произнес зарок сыновний,
Чтоб река не голодала бы.
Над голодною столицей
Одичавших волн,
Воин вод свиреполыный,

Тот, кому молился челн,
Не увидел тени жалобы.
И уроком поздних лет
Прогремел его обет:
«К богу-могу эту куклу!
Девы-мевы, руки-муки,
Косы-мосы, очи-мочи!
Голубая Волга — на!
Ты боярами оболгана!»
Волге долго не молчится.
Ей ворчится, как волчице.
Волны Волги, точно волки,
Ветер бешеной погоды.
Вьется шелковый доскут.
И у Волги у голодной
Слюни голода текут.
Волга воеет, Волга скачет
Без лица и без конца.
В буревой волне маячит
Ляля буйного донца.

«Нам глаза ее тошны.
Развяжи узлы мошны.
Иль тебе в часы досуга
Шелк волос милей кольчуги?»

«Баба-птица ловит рыбу,
Прячет в кожаный мешок
Нас растений ждет и дыба,
Кровь прольется на вершок».
И морю утихнуть легко,
И ветру свирепствовать лень.
Как будто веселый дядько

По позо несется тюлень.
Нечеловеческие тайны
Закрты шумом, точно речью.
Так на Днепре, реке Украйны,
Шатры таились Запорожской Сечи.
И песни помнили века
Свободный ум сечевика.
Его широкая чуприна
Была щитом простолюдина,
А меч коротко-голубой
Боролся с чортом и судьбой.

19 января 1922

СТИХОТВОРЕНИЯ

ЗАКЛЯТИЕ СМЕХОМ

О, рассмейтесь, смехачи!

О, засмейтесь, смехачи!

Что смеются смехами, что смеянутся
смеяльно.

О; засмейтесь усмеяльно!

О, рассмешищ надсмеяльных — смех усмейных
смехачей!

О, посмейся рассмеяльно, смех надсмейных
смеячей!

Смейево, смейево,

Усмей, осмей, смешики, смешики,

Смеюнчики, смеюнчики.

О, рассмейтесь, смехачи!

О, засмейтесь, смехачи!

КУЗНЕЧИК

Крылышкау золотописьмом
Тончайших жил,
Кузнечик в кузов пуза уложил
Прибрежных много трав и вер.
Пинь, пинь, пинь! — тарарахнул синзвер.
О лебедиво.
О озари!

Времыши-камыший
На озера береге,
Где камня временем,
Где время камнем.
На берега озере
Времыши, камыши,
На озера береге
Священно шумящие.

Там, где жили свиристели,
Где качались тихо ели,
Пролетели, улетели
Стая легких времирей;
Где качались тихо ели,
Где шумели звонко ели,
Пролетели, улетели
Стая легких
Времирей.

Кому сказатеньки,
Как важно жила барынька,
Нет, не важная барыня,
А, так сказать, лягушечка:
Толста, низка и в сарафане,
И дружбу вела большевитую
С сосновыми князьями.
И зеркальные топила
Обозначили следы,
Где она весной ступила —
Дева ветреной воды.

КОНЬ ПРЖЕВАЛЬСКОГО

Гонимый — кем, почему я знаю?
Вопросом: поделуев в жизни сколько?
Румынкой, дочерью Дуная,
Иль песнью лет про прелесть польки, —
Бегу в леса, ущелья, пропасти
И там живу сквозь птичий гам,
Как снежный сноп сияют лопасти
Крыла, сверкавшего врагам.
Судеб виднеются колеса
С ужасным сонным людям светом.
И я, как камень неба, несся
Путем не нашим и огнистым.
Люди изумленно изменяли лица,
Когда я падал у зари.
Одни просили удалиться,
А те молили: озари.
Над юга степью, где волны
Качают черные рога,
Туда, на север, где стволы
Поют, как с струнами дуга,
С венком из молний белый чорт
Летел, крутя власы бородачки:
Он слышит вой власатых морд
И слышит бой в сковородки.
Он говорил: «Я белый ворон, я одиноч,

Но все — и черную сомнений ношу
И белой молнии венки —
Я за один лишь призрак брошу,
Взлететь в страну из серебра,
Стать звонким вестником добра».

*

У колодца расколется,
Так хотела бы вода,
Чтоб в болотце с позолотцей
Отразились повода.
Мчась как узкая змея,
Так хотела бы струя,
Так хотела бы водица,
Убегать и расходиться,
Чтоб, ценой работы добыты,
Зеленее стали чоботы,
Черноглазые, ее.
Шопот, ропот, неги стон,
Краска темная стыда,
Окна, избы с трех сторон,
Воют сытые стада.
В коромысле есть цветочек,
А на речке синей челн.
«На, возьми другой платочек,
Кошелек мой туго полн».
«Кто он, кто он, кто он хочет?
Руки дики и грубы!
Надо мною ли хохочет
Близко тяткиной избы?»
«Или? или я отвечу
Чернооку молодцу,
О сомнений быстрых вчасе,

ИЗ ПЕСЕН ГАЙДАМАКОВ

«С нависня пан летит бывало горинож;
В заморских чоботах мелькают ноги,
А пани, над собой увидев нож,
На землю падает, целует ноги.
Из хлябей вынырнет усатый пан, моржом,
Чтоб простонать «Santa Maria!»
Мы ж, клопцы, весело заржем
И топим камнями в глубинах Чартория.
Панов сплаваем по рекам,
А дочери ходили по рукам.
Была веселая пора,
И с ставкою большою шла игра.
Пани нам служит как прачка наймитка,
А пан плывет и ему на лицо садится
вигитка».

Нет, старче, то негоже —
Парча отстоит от рогожи.

КРЫМСКОЕ

Вольный размер

Турки.
Вырея блестящего и мимоходом всегда
окурки
Валяются на берегу.
Берегу
Своих рыбок
В ладонях
Сослоненных.
Своих улыбок
Не могут сдержать белокурые
Турки.
Иногда балагурят
Я тоже роняю окурки...
Море в этом заливе совсем засыпает.
Засыпают
Рыбаки в море невод.
Небо там золото:
Посмотрите, как оно молодо!
Но рыбаки не умеют:
Наклонясь, сети сеют.
Ах! мне грустно!
И этот вечный по песку хруст ног!
И, наклонясь брать камешек,

Чувствую, что нужно протянуть руку прямо
еще.

Бежит на моря сини
Ветер, сладостно сея
Запахи маслины,
Цветок Одиссея.
И море шепчет «не вы»,
И девушка с дальней Невы,
Протягивая руки, шепчет: «моречко!»
А воробей приносит семечко...
Ах! я устал один таскаться!
А дитя, увидев солнце, закричало: «цаца!»
И пока расцветает, смеясь, семья прибауток,
Из ручонки
Мальчонки
Мчится камень, вياءь, в убегающих уток.
Кто-то платком машет.
Возгласы: мамаша, мамаша!
Море ласковой мерой
Веет полуденным золотом.
Ах, об эту пору все мы верим,
Все мы молоды...
И нет ничего невообразимого,
Что в этот час
Море гуляет среди нас,
Надев голубые невыразимые...
Во вворах — пес, камень,
Дорога пролегла песками,
Там под руководством маменьки
Барышня учится в воду камень кинуть.
О, этот рыбы в невод лов!
И крик невидимых орлов!
Отсюда далеко все ясно в воде.

Где очами бесплотных тучи прошли,
Я черчу: «В» и «Д»,
Чьи? Не мои.
Мои: «В» и «И».
Всё молчит. Ни о чем не говорят.
Белокурости турок канули в закат.
По устеню
Ящерида
Тащится
Тенью,
Вся нежная от линьки.
День! ты вновь стоишь, как карапузик-
мальчик,

Засунув кулачки в карманы,
Но вихрь уносит песень дальше
И ясны горные туманы.
Отсюда море кажется старательно выполощен-
ным чьими-то мозолистыми руками в синьке.
О, этот ясный закат,
Своими красными красками кат.

Где было место богов и земных дев виру,
Там, в лавочке, — продают сыру.
Где шествовал бог — не сделанный, а
настоящий,

Там сложены пустые ящики.
И снимая шляпу,
И обращаясь к тучам,
И оставив ногу
Немного,
Лепечу — я с ними не знаком —
Коснеющим детским, несмелым языком.
Если мое робкое допущение,

Что золото, которое вы тянули,
Когда, смеясь, рассказывали о любви,
Есть обычное украшение вашей семьи,
Справедливо, — то не верю, чтобы вы мне
не сообщили:

Любите ли вы «тянули»,
Птичку «сплю»?
А также в науке «русский язык» прошли ли
Спряжение глагола «люблю»?
Старое воспоминание жалит.
Тени бежали.
И милая власть жива,
И серы кружева.
Ветер, песни сея,
Улетел в свои края.
Все забыло чары дел.
Лишь бессмертно вею
Я.
Только.
И кроме того — ставит ли учитель двойки?

Примечания

В ы р е й — юг, куда уносятся осенью
птицы.
Турки нередко бывают белокурыми.
Тянули — лакомство.
Сплю — небольшая совка, распростра-
ненная в южной России.

МАРИЯ ВЕЧОРА

В ыступы замок простер
В синюю неба пустыню.
Холодный востока костер
Утра встречает богиню.
И тогда-то
Звук раздался от подков.
Бел как хата,
Месяц ясных облаков
Лаву видит седоков.
И один из них широко
Ношей белою сверкнул,
И в его ночное око
Сам таинственный разгул
Выше мела белых скул
Заглянул.
Не святые, не святоши,
В поздний час несемя мы.
Так зачем чураться ноши
В час царьцы ночи тьмы!
Уж по твердой мостовой
Идут взмыленные кони.
И опять взмахнул живой
Ношей мчащейся погони.
И кони устало зевают, замученья
Шагаются конские стати.

Усы золотые закручены
Вождя веселящейся знати.
И ввищней породе поспешная дань,
Ворота раскрылись настезь.
«Раскройся, раскройся, широкая ткань,
Находку прекрасную застишь.
В руках моих дремлет прекрасная лань!»
И, преодолевая странный страх,
По пространной взбегает он лестнице,
И прячет лицо в волосах
Молчащей кудесницы.
«В холодном сумраке покоя,
Где окружили стол скамьи,
Веселье встречу я какое
В разгуле витязей семьи?»
И те отвечали с весельем:
«Правду промолвил и дело.
Дружен урод с подземельем,
И любит высоты небесное тело». —
«Короткие четверть часа
Буду вверху и наедине.
Узнаю, льнут ли ее волоса
К моей молодой седине». —
И те засмеялись дружно.
Качаются старую стрелкой часы.
Но страх вдруг приходит. Но все же
наружно
Те всадники крутят лихие усы...
Но что это? Жалобный стон и трепещущий
говор
И тела упавшего шум позже стука.
Весь дрожа, пробегает в молчании повар
И прочь убегает, не выронив звука.

И мчатся толпою, недоброе чужь,
До двери высокой, дубовой и темной,
И плачет дружинник, ключ в скважину суня,
Суровый, сердитый, огромный.
На битву идут они к женственным чарам,
И дверь отворилась под тяжким ударом
Со скрипом, как будто, куда-то летя,
Грустящее молит и плачет дитя.
Но зачем в их руках заблестали клинки?
Шашек лезвия блещут из каждой руки.
Как будто заснувший, лежит общий друг
И на пол стекают из крови озера.
А в углу близ стены вся упрек и испуг —
Мария Вечора.

ПЕРУНУ

Над тобой носились беркута,
Порой садясь на бога грудь,
Когда миял ты, рея, омута,
На рыбы наводя поселки жуть,
Бог водами носимый,
Ячаньем встречен лебедей.
Не предопределил ли ты Пусимы
Роду низвергших ты людей?
Не знал ли ты, что некогда восстанем,
Как некая вселенной тень,
Когда гонимы быть устанем
И обречем в временах рень,
Сил синих снем.
Когда коньем мужья встречали,
Тебе не пел ли — мы не уснем
В иных времен начале.
С тобой надежды верных плыли,
Тебя провожавших зовом «боже!»
И как добычу тебя поделили были,
Когда взмог ты на песчаной рени ложе.
Как зверь влачит супруге снеди,
Текущий кровью жаркий кус,
Владимир не подарил ли так Рогнеде —
Твой золоченый длинный ус?
Ты знаешь: путь изменит пря,

И станем верны, о Перуне,
Когда желтой и белой силы пря
Перед тобой вновь объединит нас в уна.
Навьем возложенный на сани,
Как некогда ты проплыл Днепр —
Так ты окончил Перунепр,
Узнав вновь сладость всю касаний.

В ЛЕСУ

Словарь цветов

На эти златистые пижмы
Росистые волосы выжми.
Воскликнет насмешливо «только?»
Серьгою воздушная ольха.
Калужниц больше черныи холод,
Иди, позвал тебя Рогволод.
Коснется калужницы дремя,
И станет безоблачным время.
Ведь мною засушено дремя
На память о старых богах.
Тогда серебристое племя
Бродило на этих лугах.
Подъемля медовые хоботы,
Ждут ножку богинины чоботы.
И белые ель и березы,
И смотрят на небо дерезы.
В траве притаилась дурника,
И знахара ждет молодика.
Чтоб злаком лугов молодиться,
Пришла на заре молодца.
Род конского черепа кость,
К нему наклоняется жость.
Любите носить все те имена,
Что могут онежитья в Лялю.

Деревня сюда созвана,
В телеге везет свою кралю.
Лялю на лебеде
Если заметите,
Лучший на небе день
Кралей отметите.
И крикнет и цокнет весенняя кровь:
Ляля на лебеде — Ляля любовь!
Что юноши властной толпою
Везут на пути к водопою
Кралю своего села —
Она на цветах весела.
Желтые мрачны снопы
Праздничной возле толпы.
И ежами пивни захлопали
И песни вечерней любви,
Наверное стройные тополи
Смотрят на праздник в пыли.
Под именем новым — Олеги,
Вышаты, Добрыни и Глебы,
Везут конец дышла телеги,
Колосьями спританной в хлебы, —
Своей голубой королевы.
Но и в цветы запрятав низ рук,
Та смугла встает как призрак.
«Ты священна Смуглороссья» —
Ей поют цветов колосья.
И пахло кругом мухомором и дремой,
И пролит был запах смертельных
черемух.
Эй! Не будь сурова, не будь сурова,
Но будь проста, как вся дуброва.

У садьба ночью, чингисхань!
Шумите, синие березы.
Заря ночная, заратустрь!
А небо синее, моцарть!
И сумрак облака, будь Гойя!
Ты ночью облако, роопсь!
Но смерч улыбок продетел лишь,
Когтями криков хохоча,
Тогда я видел палача
И озираю ночную смел тишь.
И вас я вызвал смелолликих,
Вернул утопленниц из рек.
Их незабудка громче крика
Ночному парусу изрек.
Еще плеснула сутки ось,
Идет вечерняя громада.
Мне снилась девушка лосось
В волнах ночного водопада.
Пусть сосны бурей омамаены
И тучи движутся Батыи,
Идут слова — молчаний Кайны —
И эти падают святыи.
И тяжелой походкой на каменный бал
С дружиною шел голубой Газдрубал.

В холопий город парус тянет.
Чайкой вольницу обманет.
Куда гнется — это тайна,
Золотая судна райна.
Всюду копыя и ножи,
Хлещут мокрые ужи.
По корме смоленной стукать
Не устанет медный укоть,
На носу темнеет пушка,
На затылках хлопцев смушки.
Что задумался, други,
Иль челна слабы упруги?
Видишь, сам взрошел на мест,
Чтоб читать приказы звезд.
Догорят тем часом зори
На смоле на той кокоре.
Кормщик, кормщик, видишь пря
В небе хлещется и зря.
Мчимтесь дальше на досчане!
Мчимся, мчимся, станичане.
Моря веслам иль узки?
Мчитесь дальше паузки!
В нашей пре заморский лён,
В наших веслах только клен.
На купеческой беляне
Брати груз несется пьяный;

И красивые невольницы
Наливают ковш повольницы.
Голубели раньше льны,
Собирала псковитянка,
Теперь бурны и сильны
Плещут, точно самобранка.

НАПИСАННОЕ ДО ВОЙНЫ

«Что ты робишь, печенеже,
Молотком своим стуча?»
О, прохожий, наши вежи
Меч забыли для мяча.
В день удалого похода
Сокрушила из засады
Печенегова свобода
Святославовы насады.
Он в рубахе холщевой,
Опоясанный мечом,
Шел пустынной бичевой.
Страх для смелых нипочем!
Кто остаться в Перемышле
Из-за греков не посмели,
На корму толпою вышли —
Неясыти видны мели.
Далеко та мель прославлена,
Широка и мрачна слава,
Нынче снова окровавлена
Светлой кровью Святослава.
Чу, последний, догоняя,
Воин, дальнего вождя,
Крикнул: «Дам, о князь, коня я,
Лишь беги от стрел дождя!»
Святослав, суров, окинул

Белым сумраком главы,
Длинный меч из ножен вынул
И сказал: «Иду на вы!»
И в тренет бросились многие,
Услыша знакомый ответ.
Не раз мы, в увечьях убогие,
Спасались от книжеских чет.
Над смущенною долиною
Он возникнул, как утес,
Но прилет петли змеиный
Смерть воителю принес.
«Он был волком, не овечкой! —
Степи молвил предводитель: —
Золотой покроей насечкой
Кость, где разума обитель.
Знаменитый сок Дуная,
Наливая в глубь главы,
Стану пить я, вспоминая
Светлых клич: «Иду на вы!»
Вот зачем сию я, согну,
Молотком своим стуча,
Знай, шатры сегодня дрогнут,
Меч забудут для мяча.
Степи дочери запляшут,
Дымом затканы парчи,
И подковой землю вспашут,
Славя бубны и мячи.

СМЕРТЬ В ОЗЕРЕ

За мною взвод,
И по лону вод
Идут серые люди —
Смелы в простуде.
Это кто вырастил серого мамонта грудью,
И ветел далеких шумели стволы.
Это смерть и дружина идет на полодье,
И за нею хлынули валы.
У плотины нет забора,
Глухо визгнули ключи.
Колесница хлынула Мора
И за нею влажные мечи.
Кто по руслу шел утопая,
Погружаясь в тину болота,
Тому смерть шепнула: «Шая,
Здесь стой, держи ружье и жди кого-то».
И к студеным одеждам привыкнув
И застынув мечтами о ней,
Слушай. Смерть, пронзительно гикнув,
Гонит тройку холодных коней.
И, ремнями ударив, торопит,
И на козлы гневна вся встает,
И заречно конницею топит,
Кто на Висле о Доне поет.
Чугун льется по телу вдоль ниток,

В руках ружья, а около пушки.
Мимо лиц тучи серых улиток,
Пестрых рыб и красивых ракушек.
И выпи протяжно ухали,
Моцарта пропели лягвы,
И мертвые, не зная: здесь мокро, сухо ли,
Шептали тихо: «Заснул бы, ляг бы!»
Но, когда затворили гати туземцы,
Каждый из них умолк.
И диким ужасом исказились лица немцев.
Увидя страшный русский полк.
И на ивовой ветке извилили,
Сноп охватывать лапой натужась,
Хохотал задумчивый филин,
Проливая на зрелище ужас.

ТРИЗНА

Гол и наг лежит строй трупов,
Песни смертные прочли.
Полк стоит, глаза потупив,
Тень от летчиков в пыли.
И когда легла дубрава
На конце глухом села,
Мы сказали: «небу слава!» —
И сожгли своих тела.
Люди мы иль копыя рока,
Все в одной и той руке?
Нет, ниц вемы; нет урока,
А окопы вдалеке.
Тех, кто мертв, собрал кто жив,
Кудри мертвых вились русо.
На леса тела сложив,
Мы свершали тризну русса.
Черный дым восходит к небу,
Черный, мощный и густой.
Мы стоим, свершая требу,
Как обряд ведет простой.
У холмов, у ста озер
Много пало тех, кто жили.
На суровый, дубовый костер
Мы руссов тела положили.
И от строгих мертвых тел

Дон восходит и Иртыш.
Сизый дым, клубясь, летел.
Мы стоим, хранили тишь.
И когда веков дубрава
Озарила черный дым,
Стукнув ружьями направо,
Повернули сразу мы.

Где волк воскликнул кровью:
«Эй! я юноши тело ем»,
Там скажет мать: «Дада сынов я» —
Мы, старцы, рассудим, что делаем.
Правда, что юноши стали дешевле?
Дешевле земли, бочки воды и телеги углей?
Ты, женщина в белом, косящая стебли,
Мышцами смуглая, в работе наглей!
«Мертвые юноши! Мертвые юноши!» —
По площадям плещется стон городов.
Не так ли разносчик сорок и дроздов, —
Их перья на шляпу свою нашей, —
Кто книжечку издал: «Песни последних
оленей», —

Висит, продетый кольцом за колени,
Рядом с серебряной шкуркою зайца,
Там, где сметана, мясо и яйца.
Падают Брянские, растут у Манташева,
Нет уже юноши, нет уже нашего
Черноглазого короля беседы за ужином.
Поймите, он дорог, поймите, он нужен нам!

Будь же неслыхан и строго нов,
Похорон мира глухой пятерик,
Гулко шагай и глубокую тайну
Храни воронными ушами в чехлах.
Я верю, я верю, что некогда «майна!»
Воскликнет Будда или Аллах.

Девы и юноши, вспомните,
Кого мы и что мы сегодня увидели.
Чьи взоры и губы истом не те,
А ты вчера и позавчера, увы, дели.
Горе вам, горе вам, жители пазух,
Мира и мора глубоких морщин,
Точно на блюде на хворях чумазных
Поданы вами горы мужчин.
Если встал он,
Принесет ему череп «ес».
Вечный и мирный, жизни первой!
Это смерть идет на перепись
Пищевого довольства червей.
Поймите, люди, да есть же стыд же,
Вам нехватит в Сибири лесной костылей,
Иль позовите с острова Фиджи
Черных и мрачных учителей
И проходите годами науку,
Как должно есть человечью руку.
Нет, о друзья!
Величаво идемте к Войне Великанше,
Что волосы чешет свои от трупья.
Воскликнемте смело, смело, как раньше,
Мамонт наглый, жди копыя!
Вкушаешь мужчин à la Строганов.
Вы не взопли на мой материк!

Свобода приходит нагая,
Бросая на сердце цветы,
И мы, с нею в ногу шагая,
Беседуем с небом на ты.
Мы, войны, строго ударим
Рукой по суровым щитам:
Да будет народ государем
Всегда, навсегда, здесь и там!
Пусть девы сплуют у оконца,
Меж песен о древнем походе,
О верноподданном Солнца,
Самодержавном народе.

12 апреля 1917

ВОЛЯ ВСЕМ

Вихрем бессмертным, вихрем единым,
Все за свободой — туда.
Люди с крылом лебединым
Знамя проносят труда.
Жгучи свободы глаза,
Пламя в сравнении — холод,
Пусть на земле образа!
Новых напишет их голод...
Двинемся вместе к огненным песням
Все за свободу — вперед!
Если погибнем — воскреснем!
Каждый потом оживет.
Двинемся в путь очарованный,
Гулким внимая шагам.
Если же боги закованы,
Волю дадим и богам...

В этот день голубых медведей,
Пробежавших по тихим ресницам,
Я провижу за синей водой
В чаше глаз приказанье проснуться.

На серебряной ложке протянутых глаз
Мне протянуто море и на нем
буревестник;

И к шумящему морю, вижу, птичья Русь
Меж ресниц пролетит неизвестных.

Но моряной любес опрокинут
Чей-то парус в воде кругло синей,
Но зато в безнадежное канут
Первый гром и путь дальше весенний.

Весеннего Корана
Веселый богослов,
Мой тополь спозаранок
Ждал утренних послов.
Как солнца рыболов,
В надмирную синюю тонфу
Закинувши мрежи,
Он ловко ловит рев волон
И тучу ловит соню,
И летней бури запах свежий.
О тополь рыбац,
Станом зеленый,
Зеленые неводы
Ты мечешь столба.
И вот весенний бог
(Осе́тр удивленный)
Лежит на каждой лодке
У мокрого листа.
Открыла просьба: «небо дай» —
Зеленые уста.
С сетями ловли бога
Великий Тополь
Ударом рога
Ударит о поле
Волною синей водки.

Весны пословицы и скороговорки
По книгам зимним пропоздали.
Глазами синими увидел зоркий
Записки стыдесной земли.

Сквозь полет золотистого мячика
Прямо в сеть тополиных тенет
В эти дни золотая мать-мачеха
Золотой черепашкой ползет.

САЯН

1

Саян здесь катит вал за валом,
И берега из мела.
Здесь думы о бывалом,
И время онемело.
Вверху широким полотнищем
Шумят тревожно паруса,
Челнок смутил широким днищем
Реки вторые небеса.
Что видел ты? войска?
Собор немых жрецов?
Иль повела тебя тоска
Туда, в страну отцов?
Зачем ты стал угрюм и скучен,
Тебя течением несло,
И вынул из уключин
Широкое весло?
И, прислонясь к весла концу,
Стоял ты очарован,
К ночному камню одну
Был смутный взор прикован.
Пришел охотник и раздел
Себя от ветхого покрова,
И руки на небо воздел
Молитвой зверолова.

Поклон глубокий три раза,
Обряд кочевника таков.
«Пойми, то предков образа,
Соседи белых облаков».
На вышине, где бор шумел
И где звенели сосен струны,
Художник вырезать умел
Отцов загадочные руны.
Твои глаза, старинный боже,
Глядят в расщелинах стены.
Пасут оленя и треножат
Пустыни древние сыны.
И за суровым клинопадом
Бегут олени диким стадом.
Застыли сказочными птицами
Отцов письмена в поднебесьи.
Внизу седое краснолесье
Поет вечерними синицами.
В своем величии убогом
На темя гор восходит лось,
Увидеть договора с богом
Покрытый знаками утес.
Он гладит камень своих рог
О черный каменный порог.
Он ветку рвет, жует листы,
И смотрит тупо и устало
На грубо древние черты
Того, что миновало.

2

Но выше пояса письмен,
Каким-то отроком спасен,
Убогий образ на березе

Красою ветхою сиял.
Он наклонился детским ликом
К широкой бездне перед ним,
Гвоздем над пропастью клоним,
Грозою дикою шадим,
Доской закрыв березы тыл,
Он, очарованный, застыл.
Лишь черный ворон с мрачным криком
Летел по небу нелюдим.
Береза что ему сказала
Своею чистою корой,
И пропасть что ему молчала
Пред очарованной горой?
Глаза нездешние расширил
В них голубого света сад,
Смотрел туда, где водопад
Себе руело ночное вырыл.

ТРИ СЕСТРЫ

Как воды далеких озер
За темными ветками ивы,
Молчали глаза у сестер,
А все они были красивы.
Одна, зачарована богом
Старинных людских образов,
Стояла под звездным чертогом
И слушала полночи зов.
А та замолчала навеки
Душой простодушнее дурочки,
Боролися черные веки
С зрачками усталой снегурочки.
Лукавый язык из окошка на птичнике
Прохожего дразнит цыгана,
То, полная песен язычника,
Молчит на вершине кургана.
Она серебристые глины
Любила дикарского тела,
На сене, на стого овина,
Лежать ей знакомое дело.
И полная неба и лени,
Жует голубые цветы,
И в мертвом засохнувшем сене
Плыла в голубые черты.
Порой, быть одетой устав,

Оденет речную волну,
Учить своей груди устав
Дозволит ветров шалуну.
Она одуванчиком тела
Летит к одуванчику мира
И сказка ручейная пела,
Глаза человека — секира.
И в пропасть вечернего неба
Смотрели девичьи глаза,
И волосы черного хлеба
От ветра упали назад.
Была точно смуглый зверок,
Где синие блещут глазенки;
Небес синева, как намек,
Блеснет на ресницах теленка.
И волосы — золота темного мед,
Похожи на черного солища восток,
Как черная бабочка небо сосет
И хоботом узким пьет неба цветков.
И неба священный подсолнух,
То золотом черным, то синим отливом
Блеснет по разметанным волнам,
Проходит, как ветер по нивам.
Идет, как священник, и темной рукой
Дает темным волнам и сои и покой,
То, может быть, Пушкин иль Ленский
По ниве идут деревенской.
И слабая кашка запутает ноги
Случайному гостю сельской дороги.
Другая — окутана сказкой
Умерших событий.
К ней тянутся часто за лаской
Другого дыхания нити.

Она величаво, как мать,
Проходит сквозь призраки вишни
И любит глаза подымать,
Где звезды раскинул всевышний.
Дрожали лучи поговоркою,
И время столетьями цедится.
И смотрит, задумчиво зоркая,
Как слабо шагает Медведица.
И дышит старинная вольница,
Ушкуйницы гордая стать.
О, строгая ликом раскольница,
Поморов отшельница-мать.
Стонавших радостно черемух
Зовет бушующий костер.
Там в стороне от глаз знакомых
Находишь, дикая, шатер.
И, точно хохот обезьяны,
Валетели косы выше плеч,
И ветров синие цыганы
Ведут взволнованную речь.
Чтоб мертвецы забыли сны,
Она несет костер весны,
Его накинула на плечи,
Забывши облик человеческий.

30 марта 1920

ГОРНЫЕ ЧАРЫ

Я верю их вою и хвоям,
Где стелется тихо столетье сосны
И каждый умножен и нежен,
Как баловень бога живого.
Я вижу широкую вежу
И нежу собою и нижу.
Падун улетает по дань,
И вы точно ветка весны,
Летя по утиной реке паутиной,
Ночная усадьба судьбы;
Север цели всех созвездий
Созерцали вы.
Вилось одеянье волос
И каждый — путь солнца,
Летевший в меня, чтобы солнце на
солнце менять.
Березы мох — маленький замок,
И вы — одеяние ивы,
Что с тихим напевом «увы!»
Качала качель головы.
На матери камень
Ты встала; он громок
Морями и материками,
Поэтому пел мой потомок,
Но ведом ночным небосводом

И за руку зорями зорко ведём,
Вхожу в одинокую хижу,
Куда я годую себя и меня.
Печаль распустив паруса,
Где делится горе владелицы,
Увозит свои имена,
Слезает неясной слезой,
Изнученной тропкой из окон
Хранимой хранимы.
И лавою падает вал,
Оливы желанья увел
Суровый поток
Дорогою пяток.

ГОРОД БУДУЩЕГО

Здесь площади из горниц, в один слой,
Стеклою страницей повисли,
Здесь камню сказано «долой»,
Когда пришли за властью мысли
Прямоугольники, чурбаны, из стекла
Шары, углов, полей полёт,
Прозрачные курганы, где легла
Толпа прозрачно чистых сот,
Раскаты улиц странного чурбана
И лбы стены из белого бревна,
Мы входим в город Солнцестана,
Где только мера и длина,
Где небо пролито из синего кувшина
Из рук русалки темной площади
И алошарая вершина
Светла венком стеклянной проседи.
Ученым глазом в ночь иди!
Ее на небо устремленный глаз
В чернила ночи ярко пролит.
Сорвать покровы напоказ
Дворец для толп упорно волит,
Чтоб созерцать ряды созвездий
И углублять закон возмездий.

Где одинокая игла
На страже улицы угла,
Стекланный путь покоя над покоем
Был зорким стражем тишины,
Со стен цветным прозрачным роем
Смотрели старцы-вещуны.
В потоке золотого, куполе,
Они смотрели мудрецы,
Искали правду, пытали, глупо ли,
С сынами сеть ведут отцы.
И шуму всего человечества
Внимало спокойное жречество.
Но книгой черных плоскостей
Разрежет город синеву,
И станет больше и синей
Пустотный ночи круг.
Над глубиной прозрачных улиц
В стекле тяжелом, в глубине
Священных лиц ряды тянулись
С огнем небес наедине.
Разрушив жизни грубый кокон,
Толпа прозрачно светлых окон,
Под шаровыми куполами
Былых видений табуны,
Былых времен расскажет сны.
В высоком и отвесном храме
Здесь рода смертного отцы
Взошли на купола концы,
Но лица их своим окном
Как невод не задержат свет.
На черном вырезе хором
Стоит толпа людей завета.

Железные поля, что ходят на колесах
И возят мешок толп, бросая общей кучей,
Дворец стекланный, прямой чей старца

посох,
Свою бросает ось, один на черных тучах.
Ремнями приводными живые ходят горницы
Светелка за светелкою, серебряный набат,
Узнавшие неволю веселые затворницы,
Как нити голубые стекланных гладких хат.
И озаряя дол,
Верхушкой гордой цвел
Высокий горниц ствол,
Окутанный зарницей,
Стоит высот цевницей.
Отвесная хором нить
Верхушкой сюда падай,
Я буду вечно помнить,
Стены прозрачной радуй.
О ветер города, размерно двигай
Здесь неводом ячеек и сетей,
А здесь страниц стекланный книгой,
Здесь иглами осей,
Здесь лесом строгих плоскостей.
Дворцы-страницы, дворцы-книги,
Стекланные развернутые книги,
Весь город — лист зеркальных окон,
Свирель в руке суровой рока.
И лямкою на шее бурлака,
Влача устало небеса,
Ты мечешь в даль стекланный дол,
Разрез страниц стекланный объема
Широкой книгой открывал.

А здесь на вал окутал вал прозрачного холста,
Над полом громоздил устало пол,
Здесь речи лил сквозь львиные уста
И рос, как множество зеркального излома.

ПРАЗДНИК ТРУДА

Алое плавало, алое
На копьях у толпы.
Это труд проходит, балуя
Шагом взмах своей пяты.
Труднеделя! Труднеделя!
Кожа лоснится рубак.
Льется песня, в самом деле,
В дне вчерашнем о рабах,
О рабочих, не рабах!
И могучая раскатом
Песня падает, пока,
Озаряемый закатом,
Отбивает трепака.
Лишь приемы откололи
Сапогами впереди,
Как опять востоком воли
Песня вспыхнула в груди.
Трубачи идут в поход,
Трубят трубам в медный рот!
Веселым чародеям
Широкая дорога.
Трубач, обвитый змеем
Изогнутого рога.
Это синие гусары
На заснувшие ножи

Золотые лили чары
Полевых колосьев ржи.
Городские очи радуя
Огневом письмом полотен,
То подымаясь, то падая,
Труд проходит беззаботен.
И на площади пологой
Гулко шли рогоголовцы —
Битвенным богом
Желтый околыш, знакомый тревогам,
И на затылках, наголо стриженных,
Раньше униженных,
Черные овцы.
Лица закрыли,
Кудри струили.
Суровые ноги в зеленых обмотках,
Ищут бойцы за свободу — знакомых; —
В каждой винтовке — ветка черемухи —
Боевой привет красотке.
Как жестоки и свирепы
Скакуны степных долин!
Оценили площадь цепи,
На макушках — алый блин!
Как сегодня ярки вещи!
Золотым огнем блеснув,
Знамя падает и плещет,
Славит ветер и весну.
Это идут трубачи,
С ног окованные в трубы.
Это идут усачи,
В красоте суровой грубы.
И как дочь могучей меди,
Меж богов и меж людей,

Звуки, облаку соседи,
Рвутся в небо лебедей!
Веселым чародеям
Свободная дорога,
Трубач сверкает змеем
Изогнутого рога.
Алый волос расплескала,
Точно дева, площадь города,
И военного закала
Черны ветренные бороды.
Золото красными птицами
Носится взад и вперед.
Огненных крыл вереницами
Был успокоен народ.

20 апреля 1920

ЕДИНАЯ КНИГА

Я видел, что черные Веды,
Коран и Евангелие
И в шелковых досках
Книги монголов,
Сами из праха степей,
Из князя благовонного,
Как это делают
Калмычки каждой зарей. —
Сложили костер
И сами легли на него.
Белые вдовы в облаке дыма скрывались,
Чтобы ускорить приход
Книги единой,
Чьи страницы большие моря,
Что трепещут крылами бабочки синей,
А шелковинка — закладка,
Где остановился взором читатель.
Реки великие синим потоком:
Волга, где Разину ночью поют,
Желтый Нил, где молятся солнцу,
Янцзекиянг, где жижа густая людей,
И ты, Миссисипи, где янки
Носят штанами звездное небо,
В звездное небо окутали ноги,
И Ганг, где темные люди — деревья ума,

И Дунай, где в белом белые люди
В белых рубахах стоят над водой,
И Замбези, где люди черней сапога,
И бурная Обь, где бога секут
И ставят в угол глазами
Во время еды чего-нибудь жирного,
И Темза, где серая скука.
Род человечества — книги читатель.
И на обложке — надпись творца,
Имя мое, письмена голубые,
Да, ты небрежно читаешь,
Больше внимания,
Слишком рассеян и смотришь лентлем.
Точно уроки закона божия,
Эти горные цепи и большие моря.
Эту единую книгу
Скоро ты, скоро прочтешь.
В этих страницах прыгает кит,
И орел, оглябая страницу угла,
Садится на волны морские, груди морей,
Чтоб отдохнуть на постели орлана.

СЛОВО О ЭЛЬ

Когда суров широкий вес
Был пролит на груди,
Мы говорили: видишь, лямка
На шее бурлака.
Когда камней бесился бег,
Листом в долину упадая,
Мы говорили — то лавина.
Когда плеск воли удар в моржа,
Мы говорили — это ласты.
Когда зимой снега хранили
Шаги ночные зверолова,
Мы говорили — это лыжи.
Когда волна лелеет челн
И носит ношу человека,
Мы говорили — это лодка.
Когда широкое копыто
В болотной топи держит лося,
Мы говорили — это лапа.
И про широкие рога
Мы говорили — лось и лань.
Через осипший пароход
Я увидал кривую лопасть:
Она толкала тяжесть вод
И луч воды забыл, где пропасть.
Когда доска на груди война

Ловила копыя и стрелу,
Мы говорили — это латы.
Когда цветов широкий лист
Облавою ловит лёт луча,
Мы говорим — протяжный лист.
Когда умножены листы,
Мы говорили — это лес.
Когда у ласточек протяжное перо
Блеснет, как лужа ливня синего,
И птица летя лужей ноши,
И лег на лист летуны вес,
Мы говорим — она летает,
Блестая глазом самозванки.
Когда лежу я на лежанке
На ложе лога на лугу,
Я сам из тела сделал лодку,
И лень на тело упадает.
Ленивец, лодырь или лодка, кто я?
И здесь и там пролита лень.
Когда в ладонь сливались пальцы,
Когда не движет легот листья,
Мы говорили — слабый ветер.
Когда вода — широкий камень,
Широкий пол из снега,
Мы говорили — это лед.
Лед — белый лист воды.
Кто не лежит во время бега
Звериным телом, но стоит,
Ему названье дали — люд.
Мы воду черпаем из ложки.
Он одинок, но выскочка зверей,
Его хребет стоит как тополь,
А не лежит хребтом зверей,

О Азия! тобой себя я мучу.
Как девы брови, я постигаю тучу.
Как шею нежного здоровья,
Твои ночные вечеровья.
Где тот, кто день иной предрек?
О, если б волосами синих рек
Мне Азия покрыла бы колени,
И дева прошептала таинственные пенн.
И тихая, счастливая, рыдала,
Концом косы глаза суша.
Она любила! Она страдала!
Вселенной смутная душа.
И вновь прошли бы снова чувства,
И зазвенел бы в сердце бой:
И Мохавиры, и Заратустры,
И Саваджи объятого борьбой.
Умерших их я был бы современник,
Творил ответы и вопросы.
А ты бы грудой светлых денег
Мне на ноги рассыпала бы косы.
«Учитель, — мне шепча, —
Не правда ли, сегодня
Мы будем сообща
Искать путей свободней?»

НАВРУЗ ТРУДА

Снова мы первые дни человечества!
Адам за Адамом
Проходят толпой
На праздник Байрама
Словесной игрой.
В лесах золотых
Заратустры,
Где зелень лесов златоуста!
Это был первый день месяца Ая.
Уснувшую речь не забыли мы
В стране, где название месяца — Ай.
И полночью Ай тихо светит с небес,
Два слова, два Ая,
Два голубя бились
В окошко общей таинственной были...
Алое падает, алое
На древках с высоты.
Мощный труд проходит балаю,
Шагом взмах своей пяты,
Трубачи идут в поход,
Трубят трубам в рыжий рот.
Городские очи радуя
Золотым письмом полотен,
То подымаясь, то падая,
Труд проходит беззаботен.

Трубач, обвитый змеем
Изогнутого рога!
Веселым чародеям
Широкая дорога!
Несут виденье алое
Вдоль улицы знаменишки,
Воспряньте, все усталые!
Долой, труда погонщики!
Это день мирового Байрама.
Поодаль, как будто у русской свободы на
паперти,

Резнивой темницею заперты,
Строгие грустные девы Ислама.
Черной чадрою закутаны,
Освободителя ждут они.
Кардаш, ружье на изготовку
Руками взяв, несется вскачь,
За ним летят на джигитовку
Его товарищи удач.
Их смуглые лица окутаны в шали,
А груди в высокой броне из зарядов,
Упрямые кони устало дышали
Разбойничьей прелестью горных отрядов.
Он скачет по роще, по камням и гряням,
Сквозь ветер, сквозь чащу упорный скакун,
И ловкий наездник то падает наземь,
То вновь вверх седла изваянья чугуна.
Так смуглые воины горных кочевий
По-братски несутся, держась за нагайку,
Под низкими сводами темных деревьев,
Под рокот ружейный и гром балалайки.

КАВЭ-КУЗНЕЦ

Был сумрак сер и заспан.
Межа дышали наспех,
Над грудой серой пенла
Храпели горлом хрипло.
Как бабки повивальные
Над плачущим младенцем,
Стояли кузнецы у тела полуголого,
Краснея полотенцем.
В гнездо их наковальни
Багровое жилище
Клещи носили пищу —
Расплавленное олово.
Свирепые, багряные
Клещи, зрачками оловянные,
Сквозь сумрак проблесав,
Как воль других устав.
Они, как полумесяц, блестят на небесах,
Змеей из серы вынырнув удушливого чада,
Купают в красном пламени заплаканное
чадо.

И сквозь чертеж неясной морды
Блеснут багровыми порой очами чорта.
Гнездо ночных движений,
Железной кровью мытой,
Из черных теней свитое,

Склонившись к углям падшим,
Как колокольчик бьется железных пеней
плачем.

И те клещи свирепые
Труда заре поют,
И где, верны косым очам,
Проворных теней плети
Ложились по плечам,
Как тень багровой сети,
Где красный стан с рожденья бедных
Скрывал малиновый передник
Узором пестрого Востока,
А перезвоны молотков у детских уст
свисток, —

Жестокие клещи,
Багровые как очи,
Ночной закал свободы и обжиг —
Так обнародовали:
«Мы, Труд Первый, и прочее и прочая...»

ИРАНСКАЯ ПЕСНЯ

Как по речке, по Ирану,
По его зеленым струям,
По его глубоким сваям,
Сладкой около воды
Ходят двое чудаков
Да стреляют судаков.
Они целят рыбе в лоб,
Стой, голубушка, стоп!
Они ходят, приговаривают.
Верю, память не соврет.
Уху варят и поваривают.
«Эх, не жизнь, а жестянка!»
Ходит в небе самолет,
Братвой облаку удалой,
Где же скатерть-самобранка,
Самолетова жена?
Иль случайно запоздала,
Иль в острог погружена?
Верю сказкам наперед:
Прежде сказки — станут билью,
Но когда дойдет черед,
Мое мясо станет пылью.
И когда знамена оптом
Пронесет толпа, лягуя,
Я проснусь, в землю втоптан,

Был с головы до ног окутан хмурым хмелем,
Чтоб лишь кабан прошиб его, несясь как пуля.
Чернели пятна от костров, зола белела, кости.
И стадо в тысячи овец порою как потоп,
Руководимо пастухом, бежало нам навстречу,
Черными волнами моря живого.
Вдруг смерклось темное ущелье. Река

темнела рядом.
По тысяче камней катила голубое кружево.
И стало вдруг темно, и сетью редких капель
Покрылись сразу мы. То грозное ущелье
Вдруг встало каменною книгой читателя
другого,

Открытое для глаз другого мира.
Аул рассыпан был, казались сакли
Буквами нам непонятной речи.
Там камень красный подымался в небо
На полверсты прямою высотой, кем-то
читаемой донные книгой,

Но я чтеца на небе не заметил,
Хотя, казалось, был он где-то около,
Быть может, он чалмой дождя завернут был.
Служебным долгом внизу река шумела,
И оттеняли высоту деревья-одиночки.
А каменные ведомости последней тьмы
тем лет

Красны, не скомканы, стояли.
Окаменелых новостей висели правильно
строки

А через день Чека допрос окончила
ненужный

И я в Баку на поезде уехал.
Овраги, где клубилась река

В мешках висящей пустоты,
Где сумрак служил небу,
Я узнавал растений храмы
И чины и толпу.
Здесь дикий виноград я рвал,
Все руки испарапав.
То торга крик? Иль описание любви и
нежной и туманной?
Как пальцы рук над каменной газетой,
белели облака
К какому множеству столетий.

И я уехал.
Овраги, где я лазил, мешки русла пустого,
где прятались святилища растений,
И груша старая в саду, на ней цветок
богов — омега раскинула свой город.
Могучее дерево мучая древесиной крови
другой, цветами краснея,

Прощайте все!
Прощайте, вечера, когда ночные боги,
седые пастухи,
В деревни золотые вели свои стада.
Бежали буйволы, и запах молока вздымался
деревом на небо

И к тучам шел.
Прощайте, черно-синие глаза у буйволиц
за черною решеткою ресниц,
Откуда лились лучи материнства и на
теленка и на людей.

Прощай, ночная темнота,
Когда и темь и буйволы
Одной чернели тучей,
И каждый вечер натыкался я рукой

На их рога крутые.
Кувшин на голове
Печальнооких жен
С медлительной походкой.

Русь, зеленая в месяце Ай.
Эй, горю-горю пень!
Хочу девуку — исповедь пня.
Он зеленый вблизи мухоморов.
Хоти девок — толкала весна.
Девы жмурятся робко,
Запрятав белой косынкой глаза.
Айные радости делая,
Как ветер проносятся.
Жених и невеста вся белая.
Лови и хватай!
Лови и зови огонь горихвостки!
Туши поделуем глаза голубые,
Шарапай!
И, простодушный, медвежьей лапой
Лапай и цапай
Девичью тень.
Ты гори, пень!
Эй, гори, пень.
Не зевай
В месяце Ай!
Хохота пай
Дан тебе мяса бревну.
Ну?
К девам и жонкам
Катись медвежонком.

Или на пазекой свирели
Свисти и играй. Ну!
Ты собираешь в лукошко грибы
В месяц Ау.
Он голодай, падает май.
Ветер сосною люлюкает,
Кто-то поет и аукает,
Веткой стокою стукает.
И ляпуна не поймать
Бесу с разбойничьей рожей.
Сосновая мать
Кушает синих стрекоз.
Кинь ляпуна, он негожий.
Ты, по-разбойничьи вскинувши косы,
Ведьмой сигаешь через костер,
Крикнув: струбай!
Всюду тепло. Ночь голуба.
Девушек толпы темны и босы,
Темное тело, серые косы.
Веет любовью. В лес по грибы.
Здесь сыроежки и рыжий рыжик
С малиновой кровью,
Желтый груздь, мохнатый и круглый,
И ты, печерица,
Как снег скромно белая.
И белый крепыш с толстой головкой.
Ты гнешь пояс,
Когда сенозарник,
В темный грозник
Он — месяц страдник,
Алой эмсею возник
Из черной дороги Батыя.
Колос делует

Руки святые
Полночи богу.
В серпня неделю машешь серпом,
Гонишь густые колосья,
Тучные гривы коней золотых,
Потом, одетая, пьешь
Из кувшинов холодную воду.
И в осенины смотришь на небо,
На ясное бабье лето,
На блеск паутины.
А вечером жужжит веретено.
Девы с воплем притворным
Хоронят бога мух,
Запекши с малиной в пирог.
В месяц реун слушаешь сов,
Урожая знахарок,
Смотришь на зарево.
После взимье, свадебник месяц,
В медвежем тулупе едет невеста,
Свадьбы справляешь,
Глухарями украсив
Тройки дугу.
Голые рощи. Сосна одиноко
Темнеет. Ворон на ней.
После пойдут уже братчины.
Брага и хмель на столе,
Бороды политы серыми каплями,
Черны меды на столе.
За ними зимник —
Умник в тулупе.

ОСЕНЬ

Где опустило солнце осеннее
Свой золотой и теплый посох
И золотые черепа растений
Застряли на утесах,
Реяли сонные тучи осени синей.
По небу ясному мечется иней:
Лишь золотые трупики веток
Мечутся дико и тянутся к людям:
«Не надо делений, не надо меток,
Вы были нами, мы вами будем».
Бьются и вьются,
Сморщены, скрючены,
Ветром осенним дико измучены,
Улиц тянулись кверху уступы.
Черных деревьев голые трупы
Черные волосы бросили нам,
Точно ранним утром, к ногам еще босым,
С лукавым вопросом:
«Вы верите снам?» —
«С тобой буду на ты я».
Сады одевают сны золотые.
Все оголилось. Золото струилось.
Вот деревья призрак колючий:
В нем сотни червоцветов блестят.
«Скрыта, что же ты?»

Пойди и сорви...
Набей кошелек!
Или боишься, что воры
Большие начнут разговоры?»
Грозь убийде лезвием,
Трекратною смутною бритвою
Горбились серые горы.
Дремали здесь мертвые битвы,
С засохшею кровью гнева и ссоры —
Это Бештау грубый, кривой,
В всплесках камней свободной разбой,
Похожий на запись далекого звука,
На А или У в передаче иглой,
И на кремневые стрелы
Древних охотников лука,
Полон духа земли, облаком белым
Небу грозил боевым лезвием,
Точно оно, слабое горло, нежнее, чем лен,
Он же — кремневый нож
В грубой жесткой руке,
К шее небес устремлен...
Но не смутился небесный объем:
Попрежнему ясно чело.
Как прокаженного крепкие цепи
Бештау связали,
Прибили к долу и степи...
«Бесноватый дикарь — будь вдалеке!»
По небу ходят белые полосы
На записи каменной голоса,
На почерке звука жили пустынноики.
В светлом бору, в чаще малинника
Слушать зарянок
И желтых овсянок —

Жилою была горная голоса запись.
Жили старые люди,
Нищие телом, духом — ничьи...
Громкие сверху мчались ручьи.
Кувшины издревле умершего моря
Стояли на страже осенней пустыни.
Я мертвую рыбку заметил в кувшине.
Из моря засохшего,
Ставшего камнем, бревном,
Из мертвого цыне поля для бурь
Напилены доски
Умной пилой человека.
Шероховатые лестниц ступени,
Белые стены на холм вели, туда на пролом,
Где орел крылья развеял высоко и броско,
Точно острые мечи.
Человеческое горе орлы
Обращают в смех и пенье.
Вдали как собаки стерегут Пятигорск
Две верные Жучки: Курган Золотой —
Машук и Дубравный.

Горы мирно лежат, на лапы морды свои
положив,

А в городе смотрятся в окна
Писатели, дети, врачи и торговцы.
Это зеленые крыши, как овцы,
Спят мирным сном!
Все мирно. Дым курился.
Ножами золотыми стояли тополя,
И девочка подруге
Кричит задорно «Ля».

ПОЧЕМУ?

Почему лоси и зайцы по лесу скачут,
Прочь удаляясь?
Люди съели кору осины,
Елей побегн зеленые...
Жены и дети бродят по лесу
И собирают березы листы
Для щей, для окрошки, борща,
Елей верхушки и серебряный мох,
Пища лесная.
Дети, разведчики леса,
Бродят по рошам,
Жарят в костре белых червей,
Зайчью капусту, гусениц жирных,
Или больших пауков — они слаще орехов.
Ловят кротов, ящериц серых,
Гадов шипящих стреляют из лука,
Хлебцы пекут из лебеды.
За мотыльками от голода бегают:
Целый набрали мешок,
Будет сегодня из бабочек борщ —
Мамка сварит.
На зайца, что нежно прыжками скачет
по лесу.

Дети точно во сне,
Точно на светлого мира видение,

Восхищенные смотрят большими глазами,
Святыми от голода,
Правде не верят.
Но он убегает проворным виденьем,
Кончиком уха чернея.
Вдогонку ему стрела полетела,
Но поздно — сытый обед усакал.
А дети стоят очарованные...
«Бабочка, глянь-ка, там пролетела...»
Лови и беги! А там голубая!..
Хмуρο в лесу. Волк прибежал издадека
На место, где в прошлом году
Он скушал ягненка.
Долго крутился юлой, все место обнюхал,
Но ничего не осталось, —
Дела муравьев, — кроме сухого копыта.
Огорченный, комковатые ребра поджал
И утек за леса.
Там тетеревов алобровых и седых глухарей,
Заснувших под снегом, будет лапой
Тяжелой давить, брызгами снега осыпая.
Лисанька, огневка пушистая,
Комочком на пень взобралась
И размышляла о будущем...
Разве собакою стать?
Людам на службу пойти?
Сеток растянуто много —
Ложись в любую...
Нет, дело опасное.
Съедят рыжую лиску,
Как съели собак!
Собаки в деревне не дают...
И стала лисица пуховыми лапками мыться.

Взавишти кверху огненный парус хвоста,
Белка сказала ворча:
«Где же мои орехи и жолуди? —
Скушали люди!»
Тихо, прозрачно, уж вечерело,
Ленетом тихим сосна целовалась
С осиной.
Может, наавтра их срубят на завтрак.

Волга всегда была нашей кормилицей,
Теперь она в полугробу.
Что бедствие грозно и может усилиться —
Кричите, кричите, к устам взяв трубу!

ТРУБИТЕ, КРИЧИТЕ, НЕСИТЕ!

Вы, поставившие ваше брюхо на пару
толстых свай,
Вышедшие, шатаясь, из столовой советской,
Знаете ли, что целый великий край,
Может быть, станет мертвецкой?
Я знаю, кожа ушей ваших точно у буйволов
мощных туга,
И ее можно лишь палкой растрогать.
Но неужели от «Голодной недели» вы
ударитесь рысачами в бега,
Когда над целой страной
Повис смерти коготь?
Это будут трупы, трупы и трупики
Смотреть на звездное небо,
А вы пойдете и купите
На вечер — кусище белого хлеба.
Вы думаете, что голод — докучливая муха,
И ее можно легко отогнать,
Но знайте — на Волге засуха:
Едиственный повод, чтобы не взять, а — дать!
Несите большие караван
На сборы «Голодной недели»,
Помочь еды отдавая,
Спасайте тех, кто поседел!

Сегодня Машук, как борзая,
Весь белый, лишь в огненных пятнах берез,
И птица, на нем замерзая,
За летом летит в Пятигорск.

Летит через огненный поезд,
Забыв про безмолвие гор.
Где осень, стигая свой пояс,
Колосья собрала в подол.

И что же? Обрато летит без ума,
Хоть крылья у бедной озябли.
Их души жестоки, как грабли,
На сердце же вечно зима.

Их жизнь жестока, как выстрел.
Счет денег их мысли убыстрил,
Чтоб слушать напев торговшей,
Приделана пара ушей.

9 ноября 1921

МОРЕ:

Бьются синие кокоры
И зеленые ямуры.
Эй, на палубу, поморы,
Эй, на палубу, музуры,
Голубые удалцы!
Ветер баловень — а-ха-ха!
Дал пощечину сразмаха,
Судно село кукорачь,
Скинув парус, мчится вскачь,
Волны скачут лата-тах!
Волны скачут а-да-ца!
Точно дочери отца.
За морцом летит морцо.
Море бешеное взы-ы!
Море, море но-но-но!
Эти пади, эти кручи
И зеленая крутель.
Темный волн кумоворот,
В тучах облако и мра
Белым баловнем плывут.
Моря катится охава,
А на небе виснет зга —
Эта дзыга синей хляби,
Кубари веселых волн.
Море вертится юлой,

Море грезит и моргует
И могилами торгует.
Наше оханное судно
Полетит по морю будно,
Дико гонятся две влаги —
Обе в пене и белаге,
И волною кокова
Сбита лебеда глава.
Море плачет, море вакает,
Черным молния варакает,
Что же, скоро стихнет вза,
Наша дикая гроза?
Скоро выглянет ваража,
И исчезнет ветер вражий,
Дырой диль сняет в небе,
Буря шутит и шиганит,
Небо тучи великанит.
Эй, на палубу, поморы,
Эй, на палубу, музуры,
Ветер славить, молодцы!
Ветра с морем нелады
Доведут нас до беды.
Судно бьется, судну ва-ва!
Ветер бьется в самый корог,
Остов бьется и трещит.
Будь он проклят, ветер ворог —
От тебя молитва щит,
Ветер лапою ошкуя,
Снова бросится, тоскуя,
Грозно вырастет волна.
Возрастая в гнев старом,
И опять волны ударом
Вся ладья потрясена.

Завтра море будет отеть
Солнце небо позолотит.
Буря киш, буря киши!
Почернел суровый юг,
Занялась ночная темень.
Это нам пришел каюк,
Это нам приходит немак,
Судну ва-ва, море бяка,
Море сделало бо-бо!
Волны синие борзые
Скачут возле господина,
Заяц тучи на руке.
И волнисто-белой грудью
Грозят люду и безлюдью,
Полны злости, полны скуки.
В небе черном серый кукиш,
Небо тучам кажет шиш.
Эй, ты, палуба лихая,
Что задумалась, молчишь?
Ветер лапою медвежьей
Нас голубит, гладит, нежит.
Будет небо голубо,
А пока же нам бо-бо.
Буря носится волчком,
По-морскому бога хая.
А пока же охохонюшки,
Ветру молимся тихонечко.

9 ноября 1921

НЕ ШАЛИТЬ!

Эй, молодчики-купчики,
Ветерок в голове!
В пугачевском тулупчике
Я иду по Москве!
Не затем высока
Воля правды у нас.
В соболях — рысаках,
Чтоб катались глумясь.
Не затем у врага
Кровь лилась по дешевке,
Чтоб несли жемчуга
Руки каждой торговли.
Не зубами скрипеть
Ночью долгою,
Буду плыть — буду петь
Доном-Волгою!
Я пошлю вперед
Вечерные уструги,
Кто со мною — в полет?
А со мной — мои друзья!

ПРИМЕЧАНИЯ

ОТ РЕДАКТОРА

Тексты стихотворений и поэм Хлебникова, представленных в этой книге, вновь сверены с печатными первоисточниками, копиями и автографами, на основании которых внесены некоторые изменения в тексты, принятые в «Собрании произведений В. Хлебникова» 1928—1933 гг. В частности, ряд произведений дан в других, более поздних редакциях («Мария Вечора», «Три сестры» и др.). Поэма «Ночь перед Советами» дополнена на основании автографа.

Отбор стихов Хлебникова произведен с таким расчетом, чтобы представить его творчество наиболее законченными и полноценными произведениями. Поэтому в книгу включено лишь несколько наиболее характерных экспериментальных стихотворений раннего, футуристического периода.

Как и в прежних изданиях, принимаем здесь хронологический порядок расположения произведений Хлебникова с разбивкой их на два отдела — поэм и мелких стихотворений, согласно указанию самого Хлебникова. Даты под стихотворениями сохранены лишь в тех случаях, когда они принадлежат Хлебникову.

Зверинец. Хлебников упоминает о том, что «Зверинец» был написан в московском зверинце. «Зверинец», написанный «свободным стихом», напоминающим ритмическую прозу, близок к стихам Уитмана, с которыми Хлебников, вероятно, познакомился по переводам, впервые появившимся в 1907—1908 гг. *Баскуджие* — баской: красивый, щегольской. *Павдинский камень* — возвышенность северной части среднего Урала, где Хлебников был в орнитологической экспедиции в 1905 г. *Косматовласый Иванов* — главное действующее лицо одноименной пьесы Чехова.

Ви́ла и леший. Черновой вариант поэмы опубликован (неполностью) в «Неизданном Хлебникове» (вып. 17, М., 1930). В «Своей» Хлебников подчеркивает фольклорно-сказочные традиции своей поэмы, замечая, что «Ви́ла и леший» — «союз балканской и сарматской художественной мысли». *Ви́ла* — лесная богиня славянской мифологии. *Сой* — племя. *Меджеджет* — краска для глаз и лица.

Шама́н и Венера. *Мого́л* — монгол. В рукописи Хлебников употребляет как то, так и другое написание.

Ха́джи-Та́рхан. Поэма основана на событиях и преданиях, связанных с исто-

рией Астрахани. Самое название поэмы — «Хаджи-Тархан» представляет собой старинное татарское наименование Астрахани. В XIII в. на месте Астрахани (несколько выше нынешнего ее положения по Волге) был город кипчакской Золотой Орды — Хаджи-Тархан (или Аджи-Дархан), который в конце XIV в. становится столицей астраханского ханства. В 1557 г. Астрахань была завоевана русскими войсками. Сведения и материалы по истории Астрахани Хлебников мог почерпнуть из местных источников и преданий. *Гора Богдо своей чертою* — гора Богдо находится около Баскунчакского озера, вверх по Волге от Астрахани (неподалеку от Черного Яра и Ханской ставки, где родился и жил в детстве Хлебников). *Был уронен холм живой* — здесь Хлебников передает старинную калмыцкую легенду, связанную с горой Богдо. *Мыт* — место линьки птиц (старорусск.). *Хурул* — монгольская мошетья или храм. *Где дышит в башнях Ассирия* — около Астрахани сохранились следы древней ассирийской культуры. *Ми́ла, ми́ла нам Пугачевщина* — в 1779 г. неподалеку от Астрахани был окончательно разбит Пугачев, и все пугачевское восстание проходило в непосредственной близости к этим местам. *Там старец брошен престарелый* — повидимому, в этом и следующих стихах упоминание о взятии Астрахани Степаном Разиным в 1670 г. *Казани страж* —

игла Сумбеки — старинная башня в Казани, построенная татарской царицей Сумбекой. *Невест восстанье было раз* — так называемый «свадебный бунт» — восстание стрельцов в Астрахани в 1705 г. против петровских новшеств, вызванное якобы слухом, будто из Казани будут присланы «немцы», «за которых отдадут замуж всех девиц астраханских» («Астрахань и Астраханская губерния», М., 1852). *Чу! слышен плач, и стан княжны* — этот стих и следующие относятся к захвату Астрахани и пребыванию в ней Степана Разина с казаками. В низовьях мчащегося Ра — Ра — древнее название Волги. *Живет донине смерть Волинского* — Волинский Артемий Петрович (1689—1740) был начальником Киргизского края, позже в качестве одного из руководящих государственных деятелей при Анне Иоанновне боролся с Бироном и немецким влиянием, был предан пытке и казнен; обезглавленный труп его возили по городу. *Лох — дикая маслина. Гусляна* — крытая баржа (волжск.). *Моряна* — ветер с моря (астраханск.).

Невольничий берег. Впервые опубликовано после смерти Хлебникова («Литературная газета», 1931, № 18). В ней заметно влияние поэмы В. Маяковского «Война и мир», печатавшейся в Горьковской «Летописи» в 1917 г.

Ночь в окопе. Впервые напечатано отдельным изданием в 1921 г. (изд. «Имажинисты»). Посвящена первым годам гражданской войны. *Чартомлыцкий курган* — древнее скифское захоронение около Днепра. *Рогнеда* — одна из жен киевского князя Владимира.

Лесная тоска. Впервые опубликовано после смерти Хлебникова (Собр. произв., т. I, Л., 1929, стр. 165).

Ладомир. *И пусть пространство Лобачевского* — «воображаемая геометрия», изложенная в «Новых началах геометрии» Н. И. Лобачевского (1793—1856), произвела переворот в основных понятиях геометрии и пространства. Эвклидовой геометрии Лобачевский противопоставил «новые начала», основанные на аксиоме, что через точку можно провести несколько параллельных к данной прямой. Хлебников высоко ценил геометрию Лобачевского, считая его революционером науки. *Пусть Лобачевского кривые украсят города* — здесь речь идет об архитектуре городов будущего, как их представлял Хлебников в своей утопии «Мы и дома» (Собр. произв., т. IV, стр. 275), в которой он писал о городах, построенных из стальных клеток со стеклянными комнатами. В «Предложениях» Хлебников предлагает «строить дома в виде железных решеток, куда могли бы вставляться подвижные стеклянные домики» (Собр. произв., т. V, стр. 159).

Из камней ударов сердца — в одной из своих записей «Предложений» Хлебников писал: «Когда-нибудь человечество построит свой труд из ударов сердца, причем единицей труда будет один удар сердца. Тогда и смех, и улыбка, веселье и горе, лень и переноска тяжести будут равноценны, потому что все они требуют затраты ударов сердца» (Собр. произв., т. V, стр. 267—268). *Замок кружев* *девой нажит* — речь идет о дворце балерины Кшесинской, любовницы Николая II, с балкона которого В. И. Ленин по своем возвращении из эмиграции в апреле 1917 г. выступал с речами к народу. *И умный череп Гайаваты украсит голову Монблана* — согласно своей идее интернационального объединения человечества, Хлебников предлагал «основать мировое правительство украшения земного шара памятниками, работая над ним как токарь. Украсить Монблан головой Гайаваты, а седые Анды — головой Бурлюка» (Собр. произв., т. V, стр. 160). *И к онсам мчатся вальпарайсы. К ондурам бросились рубли* — речь идет об Америке, в которую во время империалистической войны стекались деньги со всего мира (*онсы* — старинная испанская монета; *Вальпарайсо* — торговый порт и город в Чили; *Ондуры* — южноамериканская республика Гондурас). *Лоб Раина резьбы Коненкова* — Коненков, известный скульптор, работающий преимущественно над резьбой по дереву. *Гурриэт Эл-Айн* — иранская поэтесса, возглавляла освободительное дви-

жение и борьбу за эмансипацию женщин (см. «Трубу Гуль-Муллы»). *Дзонкава* — реформатор буддизма XIV в. *Изанаги* — дух воздуха в японской мифологии. *Моногатори* — японский рыцарский роман. *Перун* — бог плодородия и грома в славянской мифологии. *Эрот* — бог любви в древнегреческой мифологии. *Шанги* — «верховный владыка» в китайской мифологии. *Маа-Эма* — божество полинезийской мифологии. *Тяэн* — божество неба в китайской мифологии. *Индра* — главнейшее из индийских божеств, бог ветра, дождя и т. д. *Юнона* — богиня земли в римской мифологии. *Цинтекуатель* — божество древних перуанцев и майев. *Ункулункулу* — африканский бог грома (примеч. В. Хлебникова в «Записной книжке»). *Тор* — бог грома в скандинавской мифологии. *Хоккусай* — художник японского средневековья. *Астарта* — финикийская богиня любви. *На богороды современниц* — здесь Хлебников говорит о своих утопических чаяниях будущего, рисуящегося ему в виде содружества людей и природы. *Месяц Ай* — первый месяц года в Иране. *Играй овраги* — весенний месяц, май. *Это будут из времени латы* — указание на теорию времени и утопические числовые законы, развиваемые Хлебниковым в ряде статей. *У великороссов нет больше отечества* — здесь Хлебников говорит об исчезновении шовинизма и национальной розни, о будущем всемирном братстве народов, освобожденных от гнета капитализма. *Зем-*

ного шара председателя — так Хлебников называл лучших людей науки, искусства и труда, мечтая об утопическом государстве «земного шара», ими руководимого. В *Красной уединясь Поляне* — Красная Поляна, дачное место под Харьковом, где жили Спняковы, у которых собирались и гостили еще до революции футуристы (Хлебников, Асеев и др). *Дней октября зажженный порох* — Хлебников имел в виду октябрьские события 1905 г. — переход революции в стадию вооруженного восстания. Именно к этому времени Хлебников относит зарождение «будетлянства» — т. е. футуризма. *Стекланный колокол столиц* — см. выше примечание к «Пусть Лобачевского кривые...». *Учебники по воздуху летели* — в «Радио будущего» Хлебников мечтает о времени, когда будут «читальни-радио»: «Эта задача решена радио с помощью волны. На громадных теневых книгах деревень радио отпечатало сегодня повесть любимого писателя, статью о дробных степенях пространства, описание полетов — и новости соседних стран. Каждый читает, что ему любо» (Собр. произв., т. IV, стр. 291). *Озер съедобный кипяток* — в «Предложениях Хлебников писал: «Разводить в озерах съедобных, невидимых глазу существ, дабы каждое озеро было котлом готовых, пусть еще сырых озерных щей» (Собр. произв., т. V, стр. 157). *Разрушить язык* — указание на одну из центральных

идей Хлебникова о едином мировом «научно построенном» языке». Он взял ряд чисел словно палку — здесь и дальше речь идет о числовых теориях и фантастических мечтах Хлебникова, о космическом перевороте.

Ночь перед Советами. Впервые опубликовано после смерти Хлебникова (Собр. произв., т. I, Л., 1929, стр. 216). Главы 4 и 5 печатаются здесь впервые. По видимому, поэма не была закончена, так последняя, 5-я глава, в дальнейшем вошла в поэму «Прачка» («Горячее Поле»), в свою очередь переработанную затем в поэму «Настоящее». Учитывая одновременность работы Хлебникова над этими тремя поэмами, можно с полной вероятностью предположить, что вещь, вначале задуманная Хлебниковым как единое произведение, в результате работы и разрастания отдельных частей ее, постепенно обособлявшихся и тематически и стилистически, распалась на отдельные поэмы.

Н а с т о я щ е е. Впервые опубликовано после смерти Хлебникова отдельным изданием (М., 1926). В поэме «Настоящее» Хлебниковым широко использован фольклор, народные песни, революционные частушки. *Великий князь* — условно аллегорический персонаж, символизирующий старый строй. *Кмотр* — кум. *Горячее поле* — городская свалка в дореволюционном Петербурге, находившаяся на окраине города. Свозившиеся

туда мусор и навоз перегнивали, благодаря чему это поле было «горячим» и дымившимся. В этом теплом мусоре и навозе ютилась городская беднота.

У струг Разина. Впервые опубликовано после смерти Хлебникова (в «Лефе», № 1, 1923). *Неук* — неизбежная лошадь (примеч. Хлебникова). В конце рукописи, после подписи, приписано еще два стиха:

ЛьетсЯ водка и вода,
Дикий ветер этой лодки повода.

В поэме использованы народные песни о Степане Разине.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Заклятие смехом. Является одним из опытов «сопряжения корней», которыми Хлебников занимался в 1908—1913 гг. Хлебников отмечал в «СвоЯси» экспериментальное значение подобных вещей: «В «Кузнечике», «Вобзоби», в «О, расСейтесь» были узлы будущего, малый выход бога огня и его веселый плеск».

Кузнечик. *Вер* — камыш. *Зинзивер* — название маленькой птички, живущей у реки.

«Мы желаем звездам тыкать». *Остранца* — один из казацких гетманов, прославившийся своей борьбой за освобо-

ждение Украины от поляков (в начале XVII в.). *Платов* (1751—1818) — атаман донского войска, один из героев войны 1812 г. *Бакланов* (1809—1873) — казачий атаман. *Морозенко* — герой украинских народных песен. *Святослав* — киевский князь X в., известный своей воинственностью. *Ослабя* — инок, участвовавший в походе Дмитрия Донского против Мамая. *Владимир* — киевский князь (1053—1125). *Добрыня* — богатырь русских былин.

Из песен гайдамаков. *Гайдамаки* — казацкие отряды на Украине в XVIII столетии, боровшиеся с польскими захватчиками, панами-феодалами. *Нависень* — навес, выступ. *Горинож* — повидимому, словообразование из украинского «до гори ногами» (т. е. вверх ногами). *Кигитка* — чайка.

Крымское. Стихотворение передает впечатления Хлебникова от пребывания в Крыму летом 1908 г.

Мария Вечора. В основу «Мария Вечора» положено фактическое событие: самоубийство австрийского эрцгерцога Рудольфа (1858—1889) и его любовницы Марии Вечора. Рудольф был найден застрелившимся в своем охотничьем замке вместе с мертвой Марией Вечора.

Семеро. *Гилея* — страна, где, согласно древнегреческой мифологии, совершал свои

подвиги Геркулес, побережье Черного моря. «Футуристами «Гилея» называла себя группа футуристов, объединившихся вокруг «Пощечины» и других изданий, руководимых Д. Бурлюком, у которого в «Гилее», т. е. в Маячках, б. Херсонской губернии, собирались в 1911—1912 гг. футуристы.

Перуну. По принятии христианства киевский князь Владимир приказал сбросить в Днепр огромный деревянный идол Перуна, стоявший в Киеве. *Миал* — миновал (объяснение Хлебникова). *Рень* — отмель, низкий берег (древнерусск.). *Рогнеда* — см. стр. 227. *Пря* — война. *Нав* — мертвец.

В лесу. *Пижма* — дикая рябина. *Калужница* — желтоголовник. *Рогволод* — князь полоцкий (IX в.). *Дереза* — чапыжник. *Молодика* — заячья капуста. *Жость* — бирючина.

«Усадьба ночью, чингисхань!» *Заратустра* (Зороастр) — религиозный реформатор в Иране. *Гойя* — испанский художник (1748—1828), изображавший ужасы войны и насилия угнетателей народа. *Фелисьен Роопс* (1833—1898) — бельгийский художник, рисовавший фантастико-гротескные и эротические гравюры. *Батый* — татарский хан, вторгшийся в 1236 г. в Россию. *Газдрубал* — имя нескольких знаменитых карфагенских полководцев.

«В холопий город парус тянет». *Райна* — рея (стар.). *Ужи* — веревки, снасть. *Укоть* — якорь (стар.). *Кокора* — бревно с корневищем. *Паузок* — мелководное судно (стар.). *Беляна* — смоленое судно.

Написанное до войны. *Святослав* — киевский князь (X в.), воевавший с греками, убитый и обезглавленный на днепровских порогах печенегами, хан которых, согласно летописному преданию, сделал из его черепа чашу для пиров. *Насады* — речные суда, лодки (стар.).

Тризна. Написано в годы империалистической войны. *Ниц вемы* — ничего не знаем (польск.).

«Где волк воскликнул кровью». *Брянские* — акции Брянских заводов. *Манташев* — владелец нефтяных промыслов.

«Народ поднял верховный желез». Стихотворение является откликом Хлебникова на Февральскую революцию. В монологе свергнутого царя (от лица которого написано стихотворение) Хлебников раскрывает свое понимание революции как возмездия за угнетение народа, за пролитие «народной крови». *Подругу одевая, как Гирей* — намек на отношения Николая II с балериной Кшесинской. *Гирей* — имя крымского хана в «Бахчисарайском фонтане»

Пушкина. *Дантон* — один из вождей французской революции, руководивший в 1792 г. штурмом королевского дворца в Тюльери и потребовавший казни короля Людовика XVI. *Кромвель* (1599—1658) — вождем буржуазной революции в Англии, разбивший войска Карла I и настоявший на его казни.

Воля всем. *Волю дадим и богам* — этот образ передает пантеистическую настроенность Хлебникова, не имея религиозного значения.

Три сестры. В основе этого стихотворения лежат впечатления от пребывания Хлебникова на даче у сестер Синяковых (см. рассказ его «Малиновая шапка» — Собр. произв., т. IV, стр. 122).

Горные чары. *Годую* — забочусь (укр).

Город будущего. В этом стихотворении Хлебников развивает свою идею городов, построенных из стеклянных кабинючек, несколько раньше подробно развитую им в статье-утопии «Мы и дома» (Собр. произв., т. IV, стр. 275).

Слово о Эль. Стихотворение является иллюстрацией теории Хлебникова о символическом значении звука и буквы, на которой основана его идея универсального всемирного языка, где каждая буква соответ-

ствует определенному комплексу понятий. В частности, истолкование «Л» как перехода из движения по черте в движение по площади дано в статье Хлебникова «Наша основа» (Собр. произв., т. V, стр. 218).

Навруз труда. *Навруз* — праздник нового года в Иране. *Байрам* — большой мусульманский праздник. *Ай* — название первого месяца года в Иране *Кардаш* — воин, стрелок.

Кавэ-кузнец. *Кавэ-кузнец* — образ, восходящий к староперсидскому эпосу и «Шах-Наме» Фирдоуси. У Фирдоуси в «Шах-Наме» рассказывается про Кавэ-кузнеца, боровшегося с деспотом Зоханом, который отнял у него семнадцать сыновей. Кавэ поднимает восстание и свергает Зохана.

«Русь зеленая в месяце Ай». В стихотворении приводятся старинные народные названия месяцев: *сенозарник* — июль, *серпень* — август, *реуп* — сентябрь, *зализье* — октябрь, *зимник* — декабрь. *Страдник* — работник. *Струбай* — прыгай. *Дороги Батыя* — Млечный путь.

Трубите, кричите, несите! Впервые было напечатано в пятигорской газете осенью 1921 г. как воззвание о помощи голодающим. Стихотворение написано под

несомненным воздействием агитационных стихов Маяковского.

Море. *Кокора* — судно, род барки. *Ямуры* — ямы. *Поморы* — жители поморья. *Музуры* — матросы на промысловом судне. *Кукорачь* — на корточках, на четвереньках. *Морцо* — залив, отделенный пересыпью. *Крутель* — обрыв, утес, скала. *Дзыга* — кубарь, вертушка. *Моргует* — пренебрегает, причудничает. *Оханный* — весьма маленький. *Белага* — летний белый полотняный кафтан. *Коков* — резное украшение на коньке избы. *Диль* — новая рыболовная сеть. *Шиганит* — шалит (шига — ветрогон, шалун). *Корог* — нос судна. *Ошкуй* — белый медведь. *Отеть* — лентяй, лежебока. *Неман*, *немень* (офенское слово) — конец, предел.

СОДЕРЖАНИЕ¹

Велимир Хлебников. Вступительная
статья Н. Л. Степанова III

ПОЭМЫ

Зверинец	3	224
Шаман и Венера	8	224
Вида и Леший	18	224
Хаджи-Тархан	30	224
Невольничий берег	37	226
Ночь в окопе	45	227
Лесная тоска	54	227
Ладомир	63	227
Ночь перед Советами	81	231
Настоящее	100	231
Уструг Разина	118	232

СТИХОТВОРЕНИЯ

Заклятие смехом	127	232
Кузнечик	128	232
«Времышки-камышки»	129	
«Там, где жили свпристели»	130	
«Кому сказатеньки»	131	

¹ Первая цифра обозначает страницу текста, вторая (курсивом) — страницу примечания.

Конь Пржевальского	132	
«Мы желаем звездам тыкать»	135	232
Из песен гайдамаков	136	233
Крымское	137	233
Мария Вечора	141	233
«Слоны бились бивнями так»	144	
«Когда умирают кони — дышат»	145	
Семеро	146	233
Перуну	150	234
В лесу	152	234
«Усадьба ночью, Чингисхань!»	154	234
«В холопий город парус тянет»	155	235
Написанное до войны	157	235
Смерть в озере	159	
Тризна	161	235
«Где волк воскликнул кровью»	163	235
«Девы и юноши, вспомните»	164	
«Народ поднял верховный жезел»	166	235
«Свобода приходит нагая»	168	
Воля всем	169	236
«В этот день голубых медведей»	170	
«Весеннего Корана»	171	
«Весны пословицы и скороговорки»	172	
Саян	173	
Три сестры	176	236
Горные чары	179	236
Город будущего	181	236
Праздник труда	185	
Единая книга	188	
Слово о Эль	190	236
Азия	193	
«О Азия! тобой себя я мучу»	194	
Навруз труда	195	237

Кавр-кузнец	197	237
Иранская песня	199	
«Ручей с холодной водой»	201	
«Русь зеленая в месяце Ай»	205	237
Осень	208	
Почему?	211	
Трубите, кричите, несите!	214	237
«Сегодня Машук, как борзая»	216	
Море	217	238
Не шалить!	220	
Примечания	221	

Ответств. редактор А. Дымшиц. Технич. редактор А. Кириарская. Корректор С. Шаталов. Художник В. Двораковский. Лениблгортит № 1114. С. П.—6/л. Тираж 10.000. Сдано в набор 22/XI 1938 г. Подписано к матрицированию 25/III 1939 г. Подписано к печати с матриц 11/III 1940 г. Печ. л. 33/4. Уч.-изд. л. 12,4 Бум. л. 2. Кол. знак. в 1 бум. л. 149.000. Отпечатано в тип. „Ленинградская Правда“, Ленинград, Социалистическая, 14. Заказ № 1126.